



ДОЧЬ СВЯЩЕННИКА
ДЖОРДЖ ОРУЭЛЛ

Классика (Эксмо)

Джордж Оруэлл
Дочь священника

«Эксмо»

1935

Оруэлл Д.

Дочь священника / Д. Оруэлл — «Эксмо», 1935 — (Классика (Эксмо))

ISBN 978-5-04-168538-6

Многие привыкли воспринимать Оруэлла только в ключе жанра антиутопии, но роман «Дочь священника» познакомит вас с другим Оруэллом — мастером психологического реализма. Англия, эпоха Великой депрессии. Дороти — дочь преподобного Чарльза Хэйра, настоятеля церкви Святого Ательстана в Саффолке. Она умелая хозяйка, совершает добрые дела, старается культивировать в себе только хорошие мысли, а когда возникают плохие, она укалывает себе руку булавкой. Даже когда она усердно шьет костюмы для школьного спектакля, ее преследуют мысли о бедности, которая ее окружает, и о долгах, которые она не может позволить себе оплатить. И вдруг она оказывается в Лондоне. На ней шелковые чулки, в кармане деньги, и она не может вспомнить свое имя... Это роман о девушке, которая потеряла память из-за несчастного случая, она заново осмысливает для себя вопросы веры и идентичности в мире безработицы и голода. Содержит нецензурную брань.

ISBN 978-5-04-168538-6

© Оруэлл Д., 1935
© Эксмо, 1935

Содержание

Часть первая	5
1	5
2	10
3	19
4	28
5	33
Конец ознакомительного фрагмента.	39

Джордж Оруэлл

Дочь священника

Часть первая

1

Будильник на комодѣ разорвал предрассветную тишину, выдернув Дороти из глубин путаного, тревожного сна, и она легла на спину, чувствуя себя совершенно разбитой, и вперилась в темноту.

Будильник упрямо надрывался, словно заходясь в истерике, и мог продолжать так минут пять, если его не выключить. Вместе с ломотой во всем теле на Дороти навалилась коварная, презренная жалость к себе, нередко одолевавшая ее по утрам, и она натянула на голову одеяло, укрываясь от ненавистного трезвона. Но вскоре преодолела слабость и, по привычке, сурово отчитала себя, во втором лице.

«Ну-ка, Дороти, подъем! Нечего разлеживаться! *Притчи: vi, 9¹*».

Затем спохватилась, что трезвон разбудит отца, и, вскочив на ноги, схватила с комода будильник и выключила. Она намеренно ставила его на комод, тем самым вынуждая себя встать с кровати. Не зажигая огня, она опустила на колени и прочла «Отче наш», но без должного чувства, не в силах отвлечься от мерзнувших ног.

Было всего полшестого, и для августа холодновато. Дороти (Дороти Хэйр, единственный отпрыск его преподобия Чарлза Хэйра, ректора² прихода Св. Этельстана, что в Найп-хилле, в Суффолке) надела выдавший виды байковый халат и пошла ощупью на первый этаж. В зябком коридоре пахло пылью, влажной штукатуркой и жареными окунями со вчерашнего ужина, а из комнат по обе стороны доносился храп на два тона – ректора и Эллен, домработницы. Дороти прошла по стенке на кухню, помня о столе, который подлым образом растягивался в темноте и бил ее в бедро, зажгла свечку на каминной полке и, преодолевая ломоту, присела и выгребла золу из очага.

Растопка кухонного очага была «адовой» задачей. Изогнутый дымоход давно забился сажей, и огонь приходилось взбадривать чашкой керосина, словно пьяницу – утренней порцией джина. Поставив греться воду для отцовского бритья, Дороти вернулась наверх и стала набирать себе ванну. Из комнаты Эллен все так же раздавался могучий храп. Девкой она была работающей, но из той породы, какую ни один черт со всеми своими ангелами не поднимет раньше семи.

Дороти набирала ванну тонкой струйкой – открыть кран побольше она не смела, чтобы не разбудить отца, – и смотрела на блеклую, неприветливую воду. Все тело ее покрылось гусиной кожей. Она терпеть не могла холодные ванны и поэтому взяла себе за правило принимать их с апреля по ноябрь. Попробовав воду рукой – ужас, какую холодную, – она стала привычно наставлять себя:

«Ну же, Дороти! Вперед! Пожалуйста, не трись!»

¹ «Доколе ты, ленивец, будешь спать? Когда ты встанешь от сна твоего?» Книга Притчей Соломоновых, синодальный перевод. (*Здесь и далее прим. пер.*)

² Чин ректора в англиканстве, весьма солидный в прошлом, утратил свой статус к началу двадцатого века и вскоре был упразднен.

Она решительно шагнула в ванну, села и всем телом погрузилась в ледяную воду, до самых волос, завязанных в узел на затылке. Через секунду она встала, дрожа и хватая ртом воздух, и сразу вспомнила, что положила «памятку» в карман халата, намереваясь прочитать. Она достала памятку и, перегнувшись через край ванны, по пояс в ледяной воде, стала читать в свете стоявшей на стуле свечки.

Памятка гласила:

7 ч. С. П.

Мсс. Т дите? Надо зйти.

ЗАВТРАК. Бекон.

НАДО спрос. отца деньги (Е)

Спрос. Эллен состав тоника отца. NB. Спрос. Соулпайна о мат. для занавесок.

Звонить мсс. П выр. из Дэйли-м чай из ангелики от ревматизма мозоль пластырь мсс. Л.

12 ч. Репет. Карла F. NB. Заказать 1/2 ф клея 1 банку алюм. краски.

ОБЕД (зачеркнуто) ЛАНЧ...?

Разнести Церк. жур. NB. Долг за мсс. Ф 3/6 п.

4.30 веч. чай в С. мат. не забыть занавески 2 1/2 ярда.

Цветы для церкви NB. 1 банка Чистоля.

УЖИН. Яичница.

Печат. проп. отца что с новой лентой для пиш. маш.

NB. полоть горох вьюнок ужас.

Дороти вылезла из ванны и, пока обтиралась полотенцем размером с носовой платок (у ректора никогда не водилось приличных полотенец), волосы откололись и упали ей на ключицы парой тяжелых прядей. Пожалуй, к лучшему, что отец запрещал ей стричься, ведь волосы – густые, мягкие и необычайно светлые – составляли всю ее красоту. Ничем другим Дороти не выделялась: роста среднего, довольно худощавая, хотя крепкая и стройная, но лицом не вышла. Лицо ее – узкое и бледное, с блеклыми глазами и длинноватым носом – было вполне заурядным; возле глаз уже наметились «гусиные лапки», а линия губ в обычном положении выдавала усталость. Не сказать, чтобы типичная старая дева, но такая участь была для нее вполне ожидаема. Тем не менее люди, мало знавшие Дороти, обычно давали ей меньше лет, чем в действительности (ей шел двадцать восьмой год), – такое детское усердие читалось у нее во взгляде. Имелись также особые приметы в виде красных точек на левом предплечье, наподобие укусов насекомых.

Надев халат, она стала чистить зубы – разумеется, без пасты; только не накануне С. П. Тут не могло быть двух мнений: ты либо постишься, либо нет. В этом она соглашалась с римокатоликами. Однако стройная цепочка мыслей прервалась, и Дороти, пошатнувшись, отложила зубную щетку. Внутренности ей скрутил внезапный, отнюдь не воображаемый спазм.

Она вспомнила (с тягостным чувством осужденного человека, забывшего за ночь свой приговор) счет от мясника, Каргилла, ожидавший уплаты уже семь месяцев. Этот ужасный счет – там могло быть фунтов девятнадцать, если не все двадцать, уплатить которые не представлялось возможным, – был едва ли не главным мучением ее жизни. В любой час ночи или дня он словно караулил ее за углом, готовый наброситься на нее и терзать; а вслед за этим счетом в памяти всплыли и счета помельче, складываясь в общую сумму, о которой Дороти не смела и думать. Невольно она взмолилась:

«Господи, прошу, пусть Каргилл не присылает счет сегодня!»

³ Карл I (англ. Charles I of England; 1600–1649) – король Англии, Шотландии и Ирландии; его политика абсолютизма и церковные реформы вызвали гражданскую войну (буржуазную революцию) в Англии и восстания в Шотландии и Ирландии.

Но тут же подумала, что молиться о таком – суета и кощунство, и попросила у Бога прощения. Надеясь забыться работой, она надела халат и поспешила на кухню.

Огонь, как обычно, потух. Дороти снова растопила очаг, пачкая руки золой, плеснула керосину и с тревогой ждала, пока чайник закипит. Отец предпочитал, чтобы воду для бритвы ему подавали к четверти седьмого. Дороти поднялась наверх с кружкой воды, подумав, что опаздывает всего на семь минут, и постучалась к отцу.

– Входи, входи! – произнес приглушенный, ворчливый голос.

В комнате, плотно занавешенной, стоял спертый мужской дух. Ректор зажег свечку на прикроватной тумбочке и лежал на боку, глядя на свои золотые часы, только что извлеченные из-под подушки. Волосы у него были белыми и пушистыми, точно пух одуванчика. Заметив дочь, он недовольно покосился на нее через плечо.

– Доброе утро, отец.

– Я бы хотел, Дороти, – прошамкал ректор (без вставной челюсти разобрать его речь было непросто), – чтобы ты трудилась поднимать Эллен по утрам. Или сама была чуть более пунктуальна.

– Я так сожалею, отец. Огонь на кухне все время гас.

– Ну хорошо! Поставь кружку на столик. Поставь и раздвинь шторы.

Уже совсем рассвело, но было пасмурно. Дороти поспешно вернулась к себе в комнату и оделась с молниеносной скоростью, как делала шесть дней в неделю. Комнатное зеркало было совсем маленьким, но Дороти почти не пользовалась им. Она надевала на шею золотой крестик – простой крестик, без всяких католических распятий! – завязывала волосы узлом, небрежно воткнув в них несколько заколок, и натягивала одежду (серую кофту, потрепанный твидовый костюм, чулки, слегка не в тон к костюму, и поношенные коричневые туфли) за пару минут. Ей еще предстояло «навести красоту» в столовой и в отцовском кабинете перед тем, как идти в церковь, а кроме того, прочесть молитвы в преддверии Святого Причастия, что занимало не меньше двадцати минут.

Когда она выкатывала из калитки велосипед, утро еще не распогодилось и трава сверкала росой. Сквозь туман, окутывавший холм, смутно вырисовывалась церковь Св. Этельстана, словно таинственный истукан, а ее единственный колокол мрачно тянул: бу-ум! бу-ум! бу-ум! Вот уже три года, как звонил только один колокол, а семь других были сняты и медленно продавливали пол колокольни. Издалека, ниже по склону, доносился настырный звон из римокатолической церкви, также скрытой туманом; ректор Св. Этельстана сравнивал этот скверный, дешевый, жестяной звон с буфетным колокольчиком.

Дороти села на велосипед и стремительно поехала на холм, налегая на руль. Тонкий нос у нее порозовел от холода. Над головой просвистел невидимый в сером небе травник.

«Ранней зарей вознесу я хвалу Тебе!»

Прислонив велосипед к кладбищенской калитке, Дороти заметила, что руки у нее серые от золы, и, присев, дочиста оттерла их о высокую влажную траву, росшую между надгробий. Колокол смолк, и она стремглав бросилась в церковь, заметив, как по проходу шагает в обтрепанной рясе и здоровых башмаках звонарь, Прогетт, пробираясь к своему месту в боковом приделе.

Церковь, большая и обветшалая – непомерно большая для столь скромной общины, – казалась почти пустой. Внутри была холодрыга, пахнувшая свечами и вековой пылью. Три узких скамьи, стоявшие поодаль друг от друга, едва занимали половину нефа, а дальше простирался голый каменный пол, на котором виднелось несколько истертых табличек, отмечавших древние могилы. Крыша над алтарной частью заметно просела; рядом с ящиком для пожертвований лежали два куса источенной балки, наглядно обличая заклятого врага христианского мира, жука-могильщика. Сквозь подслеповатые окошки сочился тусклый свет, а за южной две-

рю, настезь открытой, топорщился кипарис и чуть покачивались ветви липы, серые в пасмурную погоду.

Как и следовало ожидать, явилась единственная прихожанка – старая мисс Мэйфилл, из усадьбы Грандж. Паства по будням отлынивала от Святого Причастия, и ректор даже не мог набрать себе служек, кроме как по воскресеньям, когда мальчишкам нравилось щеголять в сутанах и стихарях перед прихожанами. Дороти заняла место на скамье позади мисс Мэйфилл и, в покаяние за один вчерашний грех, отодвинула подушечку и встала коленями на каменный пол. Служба началась. Ректор, в сутане и коротком полотняном стихаре, читал молитвы скороговоркой, довольно разборчиво, благодаря вставной челюсти, однако весьма сурово. На его брезгливом, стариковском лице, бледном, точно истертое серебро, читалось выражение отчужденности, едва ли не пренебрежения.

«Это подлинное таинство, – казалось, говорил он, – и мой долг совершить его перед вами. Но помните, что я вам не друг, а только священник. По-человечески я к вам симпатий не питаю и знать вас не желаю».

Неподалеку стоял звонарь Прогетт, средних лет, с напряженным красным лицом и курчавыми седыми волосами; он внимал ректору бездумно и ревностно, вертя в красных ручищах алтарный колокольчик.

Дороти прижала пальцы к глазам. У нее никак не получалось сосредоточиться – из головы не шла мысль о счете Каргилла. Молитвы, известные ей наизусть, влетали в одно ухо и вылетали из другого. Она подняла глаза, и взгляд ее стал блуждать по всей церкви. Сперва наверх, к обезглавленным ангелам под крышей, принявшим на себя гнев ревностных пуритан, затем обратно, к затылку мисс Мэйфилл, под шляпой «пирожком», и болтавшимся агатовым серьгам. На старухе было длинное черное пальто, с засаленным каракулевым воротничком, ни разу не менявшимся на памяти Дороти. Материал, весьма причудливый, напоминал муаровый шелк, только более грубый, с хаотичными извивами черного канта по всей площади. Возможно, это был легендарный, вошедший в поговорку, черный бомбазин. Мисс Мэйфилл была очень стара – настолько, что иначе как старухой никто ее не помнил. От нее исходил слабый букет запахов: одеколона, нафталина и отдушки джина.

Дороти вынула из лацкана пальто длинную портновскую булавку и, прячась за спиной мисс Мэйфилл, всадила себе в предплечье. Ее плоть постыдно сжалась. Всякий раз, как она ловила себя на том, что молится рассеянно, она до крови колола себе руку. Так она добровольно приучала себя к дисциплине, спасаясь от непочтительности и кощунственных мыслей.

С булавкой наготове Дороти смогла молиться более осознанно, правда, недолго. Отец неодобрительно скосил темный глаз на мисс Мэйфилл, периодически крестившуюся, чего он не одобрял. За стенами церкви чирикнул скворец. Дороти оторопело отметила, что тщеславно любитесь отцовским стихарем, который сама ему сшила два года назад. Стиснув зубы, она вогнала булавку в руку глубже прежнего.

Снова встали на колени. Читалась общая исповедь. Дороти вновь отвлеклась – теперь на витражное окно справа, изображавшее (по эскизу сэра Уорда Тука, члена Королевской академии, созданному в 1851 году) святого Этельстана, приветствуемого у райских врат Гавриилом с ангельским воинством, и каждый ангел был вылитый принц-консорт⁴, – и снова всадила булавку. Внимание было восстановлено, и фразы молитвы стали восприниматься куда более осознанно. Однако на словах «Посему мы с ангелами и архангелами...», когда Прогетт звякнул колокольчиком, Дороти снова пришлось прибегнуть к булавке, поскольку ее, как всегда в этом месте, стал разбирать смех. Ей вспоминалась история, рассказанная когда-то отцом, о том, как он был служкой и язычок алтарного колокольчика отвинтился, а священник, услышав неладное, обратился к нему в самый разгар славословия: «Посему мы с ангелами и арханге-

⁴ Имеется в виду муж королевы Виктории (1819–1901), принц Альберт (1819–1861).

лами, и со всеми силами небесными, славословим светлое имя Твое; многожды Тебя благодаря и говоря: “Прикрути язык, болван ты этакий, прикрути!”»

После освящения Святых Даров мисс Мэйфилл с превеликим трудом поднялась с колен, напоминая деревянную марионетку, запутавшуюся в своих суставах. Каждое движение сопровождалось усиленным запахом нафталина и жутким скрипом (вероятно, от корсета старухи), звучащим точно хруст костей, так что воображение рисовало под черным пальто высохший скелет.

Дороти не сразу встала. Мисс Мэйфилл ковыляла к алтарю, с трудом переставляя ноги. Она еле ползала, но гневно отвергала любую помощь. На ее древнем, бескровном лице выделялся большой, вечно приоткрытый рот. Нижняя губа, отвисшая с возрастом, открывала влажную десну и ряд вставных зубов, пожелтевших, точно клавиши старого пианино. На верхней губе, в бисеринках пота, темнели усики. Другими словами, ее уста не внушали симпатии; никому бы не понравилось пить с ней из одной посуды. И вдруг с губ Дороти сами собой, точно внушенные Нечистым, слетели слова:

– Господи, не дай мне пить из чаши после мисс Мэйфилл!

В следующий миг, ужаснувшись этой святотатственной слабости на ступенях алтаря, она пожалела, что не откусила себе язык. Она снова взяла булавку и так отчаянно вонзила в руку, что едва не вскрикнула от боли. Затем она подошла к алтарю и покорно опустилась на колени, слева от мисс Мэйфилл, оставив за ней право пригубить чашу первой.

Стоя на коленях, понурив голову и сложив ладони, Дороти собралась по-быстрому прочитать покаянную молитву, пока отец не подошел к ней с облаткой. Но мысли ее пребывали в таком смятении, что эта задача оказалась ей не под силу; губы ее шевелились, но ни сердцем, ни умом она не участвовала в молитве. Она слышала шарканье башмаков Проггетта и четкие тихие слова отца: «Возьми и вкуси», видела истертую материю красной ковровой дорожки, на которой стояла коленями, вдыхала пыль и запах одеколона с нафталином, но была не в силах устремиться мыслями на Плоть и Кровь Христову, ради которых и пришла сюда. Разум ей застлала мертвящая пелена. У нее возникло ощущение, что она просто *не может* молиться. Она отчаянно попыталась собраться с мыслями, механически бормоча слова молитвы, но в них не было толка, не было смысла – одна лишь словесная шелуха. Отец держал перед ней облатку в своей изящной, сухопарой руке, двумя пальцами, брезгливо, словно ложку с лекарством. Взгляд его был направлен на мисс Мэйфилл, со скрипом согнувшейся вдвое, точно гусеница пяденицы, и так рьяно крестившейся, что казалось, будто она малюет узоры на своем пальто. Несколько секунд Дороти не могла заставить себя взять облатку. Просто не смела. Уж лучше, куда как лучше совсем остаться без причастия, чем принять его с таким сумбуром в мыслях!

Но тут краем взгляда она заметила открытую южную дверь. Облака разошлись, луч света залил кроны лип и расцвел ветку, нависавшую над дверью, неопикуемой зеленью, зеленее любых нефритов, изумрудов и вод Атлантики. Дороти словно узрела чудесную драгоценность, озарившую на миг дверной проем зеленым сиянием, и сердце ее захлестнула радость. Вспышка живого цвета непостижимым образом наделила ее присутствием духа, благоговением и любовью к Богу. Зеленая листва вернула ей умение молиться.

«О, вся жизнь зеленая земная, пой хвалу Создателю!»

Дороти стала молиться – ревностно, радостно, самозабвенно. Облатка таяла у нее на языке. Приняв серебряную чашу из рук отца, на кромке которой виднелся влажный след губ мисс Мэйфилл, она отпила из нее без малейшей брезгливости, приветствуя такое самоуничтожение.

2

Церковь Св. Этельстана стояла на самой вершине Найп-хилла, и с колокольни – пожелай кто-нибудь на нее подняться – открывался вид миль на десять вокруг. Впрочем, вид ничем не примечательный: типичный для Восточной Англии низинный ландшафт с пологими холмиками, невыносимо скучный летом, но в зимнее время радующий глаз ажурными силуэтами голых вязов на фоне свинцового небосклона.

У подножия холма лежал городок, разделенный Главной улицей, тянувшейся с востока на запад, на две неравные части. Южная сторона – старинная и фермерская – считалась уважаемой. На северной же стороне располагались корпуса свеклосахарного завода Блайфил-Гордона, к которым лепилась, расходясь во все стороны, паутина зачуханных домишек из желтого кирпича, населенных в основном заводскими. Заводские, составлявшие большую часть жителей двухтысячного городка, были приезжими горожанами и почти сплошь безбожниками.

Вся светская жизнь городка вращалась вокруг двух центров, или очагов культуры: «Консервативного клуба Найп-хилла» (с лицензией на торговлю спиртным), в эркере которого, едва открывался бар, красовались дородные, румяные лица городской элиты, напоминавшие упитанных золотых рыбок в аквариуме; и «Старой чайной лавочки», чуть дальше по Главной улице, где собирались благородные дамы Найп-хилла. Не показаться в «Старой чайной лавочке» между десятью и одиннадцатью хотя бы раз в неделю, чтобы выпить свой «утренний кофе» и провести не меньше получаса, мило щебеча с прононсом верхушки среднего класса («Ах, душечка, у него была *девятка* пик на козырную даму, а он, представь себе, пошел неkozyрной. Как, душечка, неужто ты *опять* платишь за мой кофе? Ах, душечка моя, ты просто *чересчур* мила! Но завтра я *неукоснительно* заплачу за твой. Ты только *взгляни* на Тотошу: как сидит, как смотрит *глазками* своими, а носик черный так и ходит, и не зря (не зря же?), мордочка моя, не зря, не зря – мамочка даст ему сахарок – как не дать такому... *На, Тотоша!*»), означало признать свою непринадлежность к избранному обществу. Ректор, в своей желчной манере, окрестил этих дам «кофейной бригадой». Все они проживали в живописных, точно торты, виллах, разбросанных по соседству с усадьбой Грандж, домом мисс Мэйфилл, стоявшим от них, благодаря фамильным землям, на почтительном расстоянии. Усадьба Грандж представляла собой вычурное псевдоготическое сооружение – плод чьей-то фантазии в духе 1870-х – с зубчатыми стенами из темно-красного кирпича, по счастью, основательно укрытыми пышной растительностью.

Дом ректора стоял на середине холма, фасадом к церкви и тылом – к Главной улице. Чрезмерно обширный, с вечно осыпавшейся желтой штукатуркой, он был реликтом иного века. Когда-то ректор пристроил с одного бока просторную теплицу, служившую Дороти мастерской, но то и дело требовавшую ремонта. Палисадник задушили разлапистые ели и огромный раскидистый ясень, затенявший передние комнаты, так что о цветах нечего было и думать. Зато за домом располагался внушительный огород. Весной и осенью его хорошенько вскапывал Прогетт, а Дороти сеяла, удобряла и полола, когда выдавалось свободное время; но, несмотря на все эти усилия, огород постоянно зарастал непролазными сорняками.

Дороти спрыгнула с велосипеда у ворот, на которые какой-то умник повесил плакат с призывом: «Голосуйте за Блайфила-Гордона и достойные зарплаты!» (Проходили дополнительные выборы, и мистер Блайфил-Гордон представлял консервативную партию.) Войдя в дом, Дороти увидела два письма на истертом плетеном половике. Одно было от окружного декана, а другое – в скверном, тонком конвертике – от «Кэткина и Палма», портных, обшивавших отца. Несомненно, прислали счет. Ректор имел привычку забирать письма, вызывавшие у него интерес, а прочие оставлять дочери. Нагнувшись за ними, Дороти вдруг увидела – и внутренне передернулась – застрявший в почтовом клапане конверт без марки.

Это был счет, вне всяких сомнений! Более того, едва увидев его, она «поняла», что это кошмарный счет от Каргилла, мясника. Все у нее оборвалось. Она даже начала молиться, чтобы это оказался чей-то еще счет – хотя бы от Соулпайпа, галантерейщика, на три фунта девять шиллингов, или из универмага «Международный», или от бакалейщика, или молочника – от кого-угодно, лишь бы не от Каргилла! Затем, преодолев панику, она вынула конверт из-под клапана и судорожно надорвала.

«Счет на оплату: 21 ф. 7 ш. 9 п.».

Это было написано аккуратным почерком бухгалтера мистера Каргилла. А ниже было добавлено жирным, грозным почерком и подчеркнуто:

«Жел. донести до вашего сведения, что этот счет ожидает уплаты *очень долгое время*. Буду признателен за *скорейшую уплату*, С. Каргилл».

Дороти побледнела сильнее обычного и поняла, что совсем не хочет завтракать. Она засунула счет в карман и прошла в столовую, небольшую, темную комнату, давно нуждавшуюся в ремонте. Как и все прочие комнаты в доме, она имела такой вид, словно ее обставили рухлядью из задних рядов антикварного магазина. Мебель была «добротной», но в весьма плачевном состоянии, а стулья – до того изъедены червями, что садиться на них без риска для здоровья можно было, только зная их особую геометрию. На стенах висели старые, темные, истертые гравюры на стали, в их числе портрет Карла Первого с картины Ван Дейка – вероятно, он мог стоить каких-то денег, не будь испорчен влагой.

Ректор стоял у пустой каминной решетки, греясь у воображаемого огня, и читал письмо из продолговатого голубого конверта. Он все еще был в рясе из муарового шелка, прекрасно контрастировавшей с его густыми белыми волосами и бледным, изящным, чуть надменным лицом. При виде Дороти он отложил письмо, извлек золотые часы и со значением взглянул на них.

– Боюсь, я слегка припоздала, отец.

– Да, Дороти, ты *слегка припоздала*, – сказал ректор, повторив ее слова с легким, но отчетливым нажимом. – На двенадцать минут, если быть точным. Не думаешь, Дороти, что мне приходится вставать в четверть седьмого, чтобы принять Святое Причастие, и я прихожу домой до крайности уставшим и голодным, поэтому было бы лучше, если бы ты умудрялась не *припаздывать* к завтраку?

Ректор, очевидно, был не в духе, или, как Дороти называла это про себя, в «неудобном настроении». Его голос, претенциозный и словно вечно чем-то недовольный, нельзя было назвать ни злым, ни добрым – этот голос словно бы говорил: «Я, *право же*, не понимаю, что за мышиную возню вы развели!»

Казалось, он непрестанно страдал от назойливой глупости окружающих.

– Мне так жаль, отец! Просто нужно было зайти проведать миссис Тауни (ту самую «мсс. Т» из «памятки»). Она родила прошлым вечером и, знаешь, обещала, что придет в церковь после родов. Но она, конечно, не сделает этого, если решит, что мы не принимаем в ней участия. Ты же знаешь, какие эти женщины – они как будто ненавидят церковные обряды. Нипочем не придут, если я не стану их умамливать.

Ректор не то чтобы простонал, но издал едва различимый взглас недовольства и приблизился к столу. Это должно было означать, во-первых, что миссис Тауни обязана прийти в церковь без того, чтобы Дороти ее умамливала, и во-вторых, что Дороти не следовало тратить время, навещая всякое отребье, особенно перед завтраком. Миссис Тауни была женой рабочего и жила в *partibus infidelium*⁵, к северу от Главной улицы. Ректор положил руку на спинку своего стула и молча послал Дороти взгляд, говоривший: «Мы *наконец* готовы? Или есть *еще* какие-то препоны?»

⁵ В краю неверных (*лат.*).

– Думаю, все на столе, отец, – сказала Дороти. – Можно, пожалуй, вознести благодар-
ность...

– *Benedictus benedicat*⁶, – сказал ректор.

Он поднял потертую серебряную крышку с блюда. Серебряная крышка, как и десертная
ложечка из позолоченного серебра, была семейной реликвией; тогда как ножи и вилки вместе
с большей частью посуды прибыли из «Вулворта»⁷.

– Снова, смотрю, бекон, – сказал ректор, глядя на три скромных ломтика, свернувшиеся
на поджаренном хлебе.

– Боюсь, это все, что есть в доме, – сказала Дороти.

Ректор взял вилку двумя пальцами и осторожным движением, словно играя в бирюльки,
перевернул один ломтик бекона.

– Мне, разумеется, известно, – сказал он, – что бекон на завтрак – это почти столь же
древняя английская традиция, что и парламент. Но все же, Дороти, не думаешь ли ты, что мы
могли бы изредка отступать от нее?

– Бекон сейчас такой дешевый, – сказала Дороти виновато. – Грех просто не купить. Этот
стоил всего пять пенсов за фунт, а был и вполне приличный с виду за три.

– А, датский, полагаю? Каких только вторжений не претерпела эта страна от датчан!
Сперва они лезли с огнем и мечом, теперь же – со своим кошмарным дешевым беконом. Хотел
бы я знать, что повлекло за собой больше смертей?

Почувствовав себя чуть лучше после такой колкости, ректор уселся на стул и принялся
с завидным аппетитом завтракать презренным беконом, пока Дороти (она этим утром не ела
бекона в виде епитимьи за то, что вчера чертыхнулась и полчаса бездельничала после ланча)
пыталась придумать, как бы начать разговор о деньгах.

Ей предстояла несказанно гнусная задача – потребовать больше денег. Даже в лучшие
времена получить от отца денег было на грани невозможного, а этим утром он, очевидно, был
более «трудным» (еще один эвфемизм Дороти в отношении отца), чем обычно. Взглянув на
голубой конверт, она мрачно подумала, что это письмо принесло плохие новости.

Пожалуй, никто из тех, кому случалось пообщаться с ректором дольше десяти минут,
не стал бы отрицать, что он человек «трудный». Причина его почти всегдашней желчности
крылась в том обстоятельстве, что он родился не в своем веке. Он был не создан для жизни в
современном мире – самый дух современности вызывал у него отторжение и отвращение. Он
бы прекрасно чувствовал себя двумя веками ранее – счастливым священником с многочис-
ленной паствой, занимавшимся стихосложением или собиранием окаменелостей, пока дове-
ренные кураты управляли бы его приходами за 40 фунтов в год. Впрочем, он мог бы позво-
лить себе отгородиться от двадцатого века, будь он достаточно богат. Жить во вкусе умной
старины – очень дорогое удовольствие; на это требовался годовой доход порядка двух тысяч
фунтов. Поэтому ректор, прикованный бедностью к веку Ленина и «Дейли мейл»⁸, пребывал в
неизменном раздражении, которое естественным образом изливал на ближайшее окружение,
прежде всего на Дороти.

Он родился в 1871 году – младший сын младшего сына баронета – и избрал своим попри-
щем церковь, следуя старомодной традиции, определявшей младших сыновей в священно-
служители. Его служение началось с обширного прихода в трущобах Восточного Лондона –
своих первых прихожан, задиристых оборванцев, он вспоминал не иначе как с отвращением.
Уже в те дни низшие классы (он всегда называл их так) всюду показывали норы. Положение
его несколько улучшилось, когда его назначили викарием в сельскую местность на просторах

⁶ *Лат.* Благословение благословенное. Явный намек на яйца Бенедикт, идеальное средство от похмелья.

⁷ Универсальный магазин.

⁸ Daily Mail, ежедневная английская газета, отвечающая вкусам широкой публики.

Кента (там родилась Дороти), где паства, простодушная и забитая, все еще прикладывала руку к шляпе перед «духовным лицом». Но к тому времени он успел жениться, и семейная жизнь оказалась для него сущим адом; более того, поскольку священнику не пристало «выносить сор из избы», ему приходилось держать все в себе, что усугубляло ситуацию. В Найп-хилл он переехал в 1908 году, в возрасте тридцати семи лет, с безнадежно испорченным характером, и довольно скоро настроил против себя всех прихожан и прихожанок, вместе с их детьми.

Нельзя было сказать, что он плохой *священник*. Свои чисто церковные обязанности он выполнял как нельзя лучше – пожалуй, даже слишком хорошо для прихода низкой церкви⁹ в Восточной Англии. Службы он проводил с безупречным вкусом, читал прекрасные проповеди и по средам и пятницам вставал ни свет ни заря, чтобы провести Святое Причастие. Но он никогда всерьез не задумывался о том, что священник может иметь какие-то обязанности за пределами здания церкви. Не в силах позволить себе курата, он перекладывал всю грязную работу по приходу на жену, а после того, как она умерла, в 1921 году, на Дороти. Злопыхатели поговаривали, что он бы с радостью повесил на Дороти и свои проповеди, будь такое возможно. «Низшие классы» сразу почуяли его отношение к себе, и, будь он богатым человеком, они бы, по всей вероятности, лизали ему сапоги; а так они просто его ненавидели. Однако ему не было ни малейшего дела до этого, ведь он совершенно не думал об их существовании. Но и с «высшими классами» отношения его оставляли желать лучшего. Он перессорился по очереди со всей земельной аристократией; что же касалось мелкопоместного дворянства, его он, как внук баронета, откровенно презирал. В результате за двадцать три года паства церкви Св. Этельстана сократилась с шести сотен прихожан до менее чем двух.

Впрочем, дело было не только в личных качествах ректора. Старомодное высокое англиканство, за которое он упрямо цеплялся, в некотором смысле сидело в печенках у всех прихожан. Дух времени оставлял священнику, желавшему сохранить свою паству, лишь два пути. Либо чистый и ясный (точнее, чистый и неясный) англикатолицизм¹⁰; либо (для отчаянных модернистов, попиравших традиции) благодушные проповеди, утверждающие отсутствие ада и равенство всех хороших религий. Ректор не одобрял ни того ни другого. С одной стороны, он питал глубочайшее презрение к англикатолицизму. Это поветрие – он называл его «римской лихорадкой» – прошло мимо него, ничуть не затронув. С другой стороны, он был чересчур «высок» для своих старших прихожан. Время от времени он нагонял на них жути, произнося страшное слово «католики», не только в освященных традицией символах веры, но и в своих проповедях. Кроме того, паства год за годом редела естественным образом, и первыми уходили самые лучшие. Лорд Покторн из Покторн-корта, владевший пятой частью графства, мистер Ливис, отошедший от дел торговец кожей, сэр Эдвард Хьюсон из Крэбтри-холла, а также мелкое дворянство, разъезжавшее в автомобилях, – все они покинули приход Св. Этельстана. Большинство из них ездили по утрам в воскресенье за пять миль, в Миллборо, городок с пятидесяти тысячным населением и двумя церквями: Св. Эдмунда и Св. Ведекинда. Первая из них была модернистской (над алтарем красовался текст «Иерусалима» Уильяма Блейка, а причастное вино подавалось в бокалах), а вторая – англикатолической и вела нескончаемую подковерную войну с епископом. Однако председатель «Консервативного клуба Найп-хилла», мистер Кэмерон, перешел в римокатоличество, и дети его с головой окунулись в литературное движение РК. Поговаривали, что они учили своего попугая католической максиме: «*Extra ecclesiam nulla salus*»¹¹. В сущности, Св. Этельстан растерял всех своих прихожан, обладавших каким-никаким общественным положением, кроме мисс Мэйфилл из Гранджа. Большую часть своих денег

⁹ Low church, направление в англиканской церкви, отрицательно относящееся к ритуальности.

¹⁰ Наиболее консервативное направление в англиканской церкви.

¹¹ Лат. «Вне церкви нет спасения».

она отписала церкви – так она говорила; тем не менее в ящик для пожертвований никогда не клала больше шестипенсовика, и было похоже, что она собирается жить вечно.

Первые десять минут отец и дочь завтракали в полной тишине. Дороти никак не могла набраться храбрости заговорить (несомненно, следовало завести хоть *какой-нибудь* разговор прежде, чем поднимать вопрос денег), но ректор был не из тех людей, кого легко вовлечь в светскую беседу. Периодически он настолько уходил в себя, что просто не слышал, когда к нему обращались; зато иногда он бывал чересчур внимателен к словам собеседника и отмечал, с досадой в голосе, что не услышал ничего достойного внимания. Вежливые банальности – такие, как разговоры о погоде, – обычно вызывали у него сарказм. И все же Дороти решила начать с погоды.

– Занятный день, не правда ли? – сказала она и сразу устыдилась пошлости этих слов.

– *Чем же он занятный?* – спросил ректор.

– Ну, я хочу сказать, утром был такой туман и холод, а теперь солнце выглянуло и все так расцвело.

– И что же в ЭТОМ такого занятого?

Явная промашка.

«Должно быть, получил плохие новости», – подумала Дороти и предприняла новый заход:

– Заглянул бы ты хоть разок, отец, в наш огород. Стручковая фасоль так вымахала! Стручки будут больше фута. Я, конечно, собираюсь сберечь все лучшие до праздника урожая. Подумала, будет так здорово, если мы украсим кафедру гирляндами фасоли и добавим к ним несколько помидоров.

Но и это был *faux pas*¹². Ректор поднял взгляд от тарелки с нескрываемым раздражением.

– Дорогая моя Дороти, – сказал он едко, – РАЗВЕ обязательно донимать меня праздником урожая уже сейчас?

– Прости, отец! – сказала Дороти, растерявшись. – Я не хотела донимать тебя. Просто подумала...

– Ты полагаешь, – продолжал ректор, – мне доставит удовольствие читать проповедь в окружении гирлянд стручковой фасоли? Я ведь не зеленщик. От одной мысли об этом аппетит пропадает. На какую дату намечена эта нелепица?

– На шестнадцатое сентября, отец.

– Впереди еще почти месяц. Ради всего святого, не напоминай мне больше об этом! Полагаю, мы должны устраивать эту нелепицу раз в году, чтобы потешить тщеславие каждого несчастного огородника в приходе. Но давай не будем забивать себе этим голову сверх необходимого.

Ректор испытывал (о чем не следовало забывать Дороти) крайнюю неприязнь к празднику урожая. Каковая неприязнь даже стоила ему одного ценного прихожанина (мистера Тогиса, пожилого ворчливого огородника), не стерпевшего, когда ректор сказал, что церковь в таком виде напоминает базарный ряд. Мистер Тогис, *anima naturaliter Nonconformistica*¹³, держался в церкви единственно ради привилегии устраивать на праздник урожая в придельном алтаре подобие Стоунхенджа из огромных кабачков и тыкв. Прошлым летом он сумел вырастить совершенно исполинскую, жгуче-рыжую тыкву, до того огромную, что ее могли поднять лишь двое человек. Эту несусветную диковину внесли в алтарную часть, и она затмила не только алтарь, но и восточный витраж. В какой бы части церкви вы ни стояли, эта тыква, фигурально выражаясь, была вас не в бровь, а в глаз. Мистер Тогис пребывал в упоении. Он

¹² *Фр.* Ложный шаг.

¹³ *Лат.* Душой по природе нонконформист. Отсылка к изречению Тертуллиана (ок. 160 – ок. 220) «*Anima naturaliter christiana*» («Душа по природе христианка»).

слонялся в церкви с утра до вечера, не в силах оторваться от своей обожаемой тыквы, и даже приводил с собой друзей, полюбоваться ей. Казалось, он вот-вот станет декламировать «Сонет, написанный на Вестминстерском мосту» Вордсворта:

*Нет зрелища пленительней!
И в ком не дрогнет дух бесчувственно-упрямый
При виде величавой панорамы!¹⁴*

У Дороти даже затеплилась надежда, что он придет на Святое Причастие. Но ректор при виде тыквы не на шутку рассердился и велел немедленно убрать из церкви «это кошмарное нечто». Мистер Тогис, недолго думая, переметнулся в стан неконформистов, и больше ни он, ни его отпрыски в церковь не заглядывали.

Дороти решила предпринять последнюю попытку завязать с отцом разговор.

– Мы мастерим костюмы для «Карла Первого», – сказала она, имея в виду пьесу, которую ставила церковная школа для сбора средств на орган. – Но я жалею, что мы не выбрали что-нибудь полегче. Делать доспехи – такая морока, а с ботфортами, боюсь, будет еще хуже. Думаю, в другой раз нужно будет ставить пьесу из римской или греческой истории. Чтобы ребята ходили в тогах.

Это вызвало у ректора лишь очередное ворчание. Пусть школьные пьесы, живые картины, базары, благотворительные распродажи и концерты были не так ужасны в его глазах, как праздники урожая, он все равно причислял их к «неизбежному злу» и не желал обсуждать.

Вдруг открылась дверь, и в столовую бесцеремонно вошла домработница, Эллен, придерживая передник мясистой, шелудивой рукой. Эллен была рослой девкой с покатыми плечами, пепельными волосами и жалостливым голосом и страдала от хронической экземы. Она бросила робкий взгляд на ректора, но заговорила с Дороти, боясь обращаться к ректору напрямую.

– Простите, мисс, – начала она.

– Да, Эллен?

– Простите, мисс, – повторила Эллен жалобно, – в кухне мистер Портер, говорит, не мог бы, пожалуйста, ректор прийти, покрестить младенца миссис Портер? Потому что они думают, он до завтра не дотянет, а его еще не крестили, мисс.

Дороти встала.

– Сиди, – тут же сказал ректор с набитым ртом.

– А что такое с младенцем? – сказала Дороти. – Как они думают?

– Ну, мисс, он весь почернел. И понос совсем замучил.

Ректор проглотил с усилием.

– Мне обязательно выслушивать эти мерзкие подробности за завтраком? – воскликнул он и обратился к Эллен: – Отошли Портера восвояси и скажи, я приду к нему в полдень. Право же, не пойму, почему это низшие классы вечно приходят домогаться тебя, когда ты за едой, – добавил он, бросив очередной раздраженный взгляд на Дороти, севшую на место.

Мистер Портер был рабочим – кирпичником, если точно. Ректор относился к крещению самым ответственным образом. В случае крайней необходимости он бы прошел двадцать миль по снегу, чтобы крестить умирающего младенца. Но ему не понравилось, что Дороти изъявила готовность уйти посреди завтрака ради какого-то кирпичника.

Они продолжали завтракать молча. Дороти все больше падала духом. Она должна была потребовать денег, но предчувствовала, что из этого ничего не выйдет. Закончив завтракать, ректор встал из-за стола и, взяв табакерку с каминной полки, принялся набивать трубку. Дороти быстро помолилась и стала понукать себя.

¹⁴ Пер. В. Левика.

«Ну же, Дороти! Смелее! Пожалуйста, не трусь!»

Собрав волю в кулак, она сказала:

– Отец...

– Что такое? – сказал ректор, застыв со спичкой в руке.

– Отец, я хочу попросить тебя о чем-то. О чем-то важном.

Ректор изменился в лице. Он тут же понял, в чем дело, и, как ни странно, отнесся к этому сравнительно спокойно. Он надел маску невозмутимости, всем своим видом давая понять, что мирские заботы его не волнуют.

– Вот что, дорогая моя Дороти, я прекрасно знаю, что ты имеешь в виду. Полагаю, ты снова хочешь попросить у меня денег. Верно?

– Да, отец. Потому что...

– Что ж, я избавлю тебя от объяснений. У меня совершенно нет денег – абсолютно нет никаких денег до следующего квартала. Ты получила свое жалованье, и я не могу добавить тебе ни полпенни. Совершенно бессмысленно донимать меня этим сейчас.

– Но, отец...

Дороти совсем смутилась. Ничто не угнетало ее так, как это безучастное спокойствие отца, когда она просила у него денег. Ректор ни к чему не относился с большим равнодушием, чем к напоминанию о том, что он по уши в долгах. Очевидно, ему было просто невдомек, что торговцам хочется, чтобы их услуги хотя бы иногда оплачивали, и что никакое хозяйство невозможно вести без должной суммы денег. Он выделял Дороти восемнадцать фунтов в месяц на все расходы, включая и жалованье Эллен, и в то же время был привередлив в еде, чуть что, отмечая малейшее ухудшение качества. В результате они, разумеется, не вылезали из долгов. Но ректор не придавал своим долгам ни малейшего значения – да он едва ли знал о них. Когда он сам терял деньги из-за неудачного вложения, он глубоко переживал; что же касалось торговцев, которым он был должен, – что ж, он просто не утруждал себя заботами о такой ерунде.

От трубки ректора поднялся безмятежный завиток дыма. Должно быть, он уже выбросил из головы просьбу Дороти, судя по тому, как умиротворенно рассматривал гравюру с Карлом Первым. При виде этого Дороти захлестнуло отчаяние, и к ней вернулась решимость.

– Отец, – сказала она тверже, чем прежде, – пожалуйста, послушай! Я *должна* получить вскорости немного денег! Просто *должна*! Мы не можем и дальше так продолжать. Мы задолжали едва ли не каждому торговцу в городе. Доходит до того, что мне иногда утром совестно идти по улице из-за всех этих счетов, ожидающих уплаты. Тебе известно, что мы должны Каргиллу почти двадцать два фунта?

– Что с того? – сказал ректор, выдувая дым.

– Но этот счет растет уже восьмой месяц! Он присылает его снова и снова. Мы *должны* заплатить! Это так несправедливо – заставлять его ждать своих денег!

– Чепуха, дитя мое! Эти люди согласны подождать своих денег. Им это нравится. В итоге они получают больше. Одному Богу известно, сколько я должен «Кэткину и Палму» – и меня это нимало не заботит. Они талдычат мне об этом с каждой почтой. Но я ведь на это не жалуюсь, не так ли?

– Но, отец, я не могу смотреть на это так, как ты, не могу! Так ужасно вечно быть в долгах! Даже если так и можно жить, это *отвратительно*. Мне от этого так стыдно! Когда я захожу за мясом в лавку Каргилла, он так резко отвечает мне и заставляет ждать, пока обслужит остальных, – и все потому, что мы ему никак не заплатим. А я не смею перестать ходить к нему. Думаю, иначе он обратится в полицию.

Ректор нахмурился:

– Как! Ты хочешь сказать, этот тип угрожал тебе?

– Я этого не говорила, отец. Но нельзя его винить, если он злится, когда мы не платим ему по счетам.

– Еще как можно! Просто кошмар, как эти люди стали много понимать о себе в наши дни – кошмар! В этом-то все и дело. Нам никуда от этого не деться в наш славный век. Вот она, демократия – *прогресс*, как им нравится это называть. Не заказывай больше у него. Скажи ему, что у тебя кредит в другом месте. С этими людьми надо только так.

– Но, отец, это не ответ. Если по-честному, разве ты не думаешь, что мы должны заплатить ему? Наверняка мы могли бы достать нужную сумму каким-нибудь образом? Не мог бы ты продать немного акций или еще чего-нибудь?

– Дитя мое, не говори мне о продаже акций! Я только что получил самые неутешительные вести от моего брокера. Он пишет, что мои акции «Суматры-жесть» упали в цене с семи фунтов четырех пенсов до шести и одного. Это значит, я потерял почти шестьдесят фунтов. Я велю ему продать весь пакет, пока еще не поздно.

– Значит, если ты их продашь, у тебя появятся наличные, так ведь? Ты не думаешь, что будет лучше разом рассчитаться с долгами?

– Чепуха, чепуха, – сказал ректор чуть спокойнее и снова закусил мундштук. – Ты в этих делах ничего не смыслишь. Мне придется тут же их снова вложить во что-нибудь понадежней – это единственный способ вернуть мои деньги.

Засунув большой палец за пояс рясы, он устремил хмурый взгляд на гравюру. Брокер советовал ему «Объединение Целаниз». В сущности, в этих компаниях – таких, как «Суматра-жесть», «Объединение Целаниз» и множество других, разбросанных по всему миру, – и заключалась главная причина денежных затруднений ректора. Он был заядлым игроком. Нет, он, конечно же, не думал об этом в такой перспективе; он считал, что просто-напросто занят поисками «хорошего вложения». Войдя в возраст, он унаследовал четыре тысячи фунтов, которые постепенно сократились, благодаря его «вложениям», примерно до двенадцати сотен. А еще печальней было то, что каждый год он умудрялся наскрести полсотни фунтов со своего мизерного дохода, но и они пропадали в той же воронке. Любопытное дело, но в ловушку «хорошего вложения» духовенство, похоже, попадает чаще прочих категорий граждан. Возможно, эта напасть представляет собой современный эквивалент демонов-суккубов, изводивших анахоретов Темных веков.

– Я куплю пятьсот акций «Объединения Целаниз», – сказал наконец ректор.

Дороти стала терять надежду. Отец теперь погрузился в мысли о своих «вложениях» (Дороти ничего о них не знала, кроме того, что они с поразительной регулярностью приносили убытки), и не пройдет и минуты, как вопрос долгов совершенно выветрится у него из головы. Она предприняла последнюю попытку:

– Отец, прошу тебя, давай уладим это дело. Как думаешь, ты сможешь выдать мне некоторую сумму в ближайшее время? Не прямо сейчас, но, возможно... через месяц-другой?

– Нет, дорогая, не смогу. Ближе к Рождеству, возможно, да, и то маловероятно. Но пока что никак не могу. У меня нет ни полпенни на лишние расходы.

– Но, отец, это так ужасно – чувствовать, что мы не можем расплатиться по долгам! Это же нас бесчестит! Прошлый раз, когда приезжал мистер Уэлвин-Фостер (мистер Уэлвин-Фостер был окружным деканом), миссис Уэлвин-Фостер по всему городу наводила о нас справки самого личного свойства: как мы проводим время, и сколько у нас денег, и сколько тонн угля мы сжигаем за год, и все такое. Она вечно разнюхивает наши дела. Что, если она выяснит, что мы увязли в долгах!

– Уж конечно, это наше личное дело? Я совершенно не понимаю, какое отношение имеет к этому миссис Уэлвин-Фостер или кто бы то ни было?

– Но она растрезвонит это повсюду – и к тому же все раздует! Ты же знаешь миссис Уэлвин-Фостер. В какой приход она ни приедет, она норовит выяснить что-нибудь, порочащее местное духовенство, а потом все докладывает епископу. Я не хочу осуждать ее, но, в самом деле...

Дороти поняла, что *хочет* осудить ее, и смолкла.

– Она гадкая женщина, – сказал ректор ровно. – Что с того? Разве жены окружных деканов бывают другими?

– Но, отец, я, похоже, не в силах донести до тебя, как плачевно наше положение! Нам просто не на что жить ближайший месяц. Я даже не знаю, где достать сегодня мяса на обед.

– Ланч, Дороти, ланч! – сказал ректор с легким раздражением. – Я бы хотел, чтобы ты бросила эту кошмарную привычку низших классов называть дневную трапезу *обедом!*

– Хорошо, на ланч. Откуда мы достанем мясо? Обращаться к Каргиллу я уже не смею.

– Пойди к другому мяснику – как его, Солтеру – и забудь про Каргилла. Он знает, что ему заплатят рано или поздно. Боже правый, я не понимаю, к чему вообще вся эта мышьяная возня! Разве не все должны своим поставщикам? Я отчетливо помню, – на этих словах ректор чуть расправил плечи и, взяв трубку в рот, устремил взгляд вдаль и продолжил более спокойным, ностальгическим тоном, – помню, когда я был в Оксфорде, мой отец еще не расплатился по своим оксфордским счетам тридцатилетней давности. А Том (это был кузен ректора, баронет) набрал долгов на семь тысяч прежде, чем получил свои деньги. Он сам мне это говорил.

Последняя надежда Дороти иссякла. Когда отец заводил речь о кузене Томе или произносил слова «когда я был в Оксфорде», до него уже невозможно было достучаться. Он ускользал в воображаемый золотой век, где не было места таким низменным материям, как счет от мясника. Казалось, он нередко забывал – и не спешил вспоминать – о том, что он всего лишь обедневший провинциальный ректор, а не отпрыск знатной фамилии, претендующий на наследство. Как бы ни складывались жизненные обстоятельства, в нем всегда брал верх тщательный аристократический дух. И, конечно, пока жизнь его, не лишенная приятностей, протекала в воображаемом мире, не кому иному, как Дороти, приходилось бороться с кредиторами и растягивать баранью ногу с воскресенья до среды. Но она прекрасно понимала, что спорить с ним дальше бессмысленно – это могло лишь рассердить его. Встав из-за стола, она принялась собирать посуду на поднос.

– Ты совершенно уверен, отец, что не можешь выдать мне никаких денег? – сказала она, остановившись в дверях с подносом в руках.

Ректор – он сидел в клубах дыма, устремив взгляд вдаль, – ничего ей не ответил. Вероятно, мысли его блуждали в золотых оксфордских деньках его молодости. Дороти вышла из комнаты в смятении, с трудом сдерживая слезы. Несносный вопрос долгов снова был отложен в долгий ящик, как и тысячу раз до того, и конца-края этому не виделось.

3

Дороти катилась с холма на своем стареньком велосипеде, с плетеной корзинкой на руле, и подсчитывала в уме, как растянуть три фунта девятнадцать шиллингов и четыре пенса – всю оставшуюся сумму – до следующего квартала.

Перед выходом она просмотрела список продуктов, которых не хватало на кухне. Хотя проще было сказать, чего там хватало. Что ни возьми – чай, кофе, мыло, спички, свечи, сахар, чечевицу, растопку, соду, ламповое масло, крем для обуви, маргарин, пекарный порошок – все было на исходе. И то и дело Дороти с досадой вспоминала что-нибудь еще. Хотя бы счет из прачечной или кончавшийся уголь, а еще нужно было определиться с рыбой на пятницу. Ректор отличался «трудным» отношением к рыбе. Проще говоря, он признавал только дорогие сорта; ни трески, ни हेка, ни шпрот, ни ската, ни сельди, ни копченого лосося он не ел.

Но прежде всего Дороти заботил вопрос мяса на сегодняшней обед – в смысле, *ланч*. (Она старалась не раздражать отца и называла обед ланчем. Хотя вечерний прием пищи она не могла называть иначе как «ужином»; получалось, что для ректора не существовало такого понятия, как «обед».) Дороти решила, что на ланч у них будет омлет. Она не смела обратиться к Каргиллу. Однако, если на ланч у них будет омлет, а на ужин – яичница, отец, вне всякого сомнения, не преминет отпустить саркастическое замечание. В прошлый раз, когда она подала ему яйца второй раз за день, он холодно произнес: «Ты, никак, открыла птицеферму, Дороти?» Что ж, завтра она, пожалуй, возьмет два фунта сосисок в «Международном», так что на ближайшие сутки мясной вопрос можно было считать решенным.

А впереди грозно выстроились еще тридцать девять дней, и Дороти поминутно отгоняла чувство жалости к себе, накатывавшее при мысли о трех фунтах девятнадцати шиллингах и четырех пенсах.

«Ну же, Дороти! Пожалуйста, не надо ныть! Положись на Бога, и все как-нибудь выправится. Матфей, vi, 25¹⁵. Господь о тебе позаботится. Правда ведь?»

Дороти сняла с руля правую руку и нащупала булавку, но кощунственная мысль отступила. В тот же момент она заметила на обочине хмурого Проггетта с красной физиономией, подзывавшего ее с уважительным, но тревожным видом.

Дороти затормозила и спешила.

– Прощения, мисс, – сказал Проггетт. – Все хотел перемолвиться с вами, мисс... *особливо*.

Дороти внутренне подобралась. Когда Проггетт хотел перемолвиться с ней *особливо*, можно было не сомневаться, что за этим последуют сокрушения о плачевном состоянии церкви. Проггетт был неисправимым пессимистом и ревностным прихожанином, весьма набожным, на свой лад. Не имея, по слабости ума, устойчивых религиозных убеждений, он выказывал свою набожность неусыпной тревогой о состоянии церковных построек. Он давно для себя решил, что Церковь Христова – это действительные стены, кровля и башня Св. Этельстана, и с утра до вечера слонялся вокруг церкви, мрачно подмечая то трещину в камне, то трухлявую балку, чтобы затем, ясное дело, донимать Дороти призывами к ремонту, требовавшему немислимых денег.

– Что такое, Проггетт? – сказала Дороти.

– В общем, мисс, энти х...

¹⁵ «Посему говорю вам: не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, ни для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи, и тело одежды?» Евангелие от Матфея, синодальный перевод.

Он издал глухой звук, словно собираясь откашляться, и сглотнул слово на букву «х». Дело в том, что речь его непроизвольно уснащалась бранными словами, но в разговоре с благородными людьми он прилагал усилия, чтобы подавлять их в зародыше.

– Да колокола энти, мисс, – продолжил он, – какие в церковной башне. Они же ж пол в колокольне напрочь продавили, ажно боязно смотреть. Мы и глазом моргнуть не успеем, как они нам бошки размозжат. Я утром наверх слазил да скатился кубарем, вот вам крест, как увидал, до чего пол под ними продавился.

Проггетт далеко не в первый раз заводил такую речь. Вот уже три года, как колокола покоились на полу колокольни, поскольку их перевеска или вынос обошлись бы в двадцать пять фунтов, что было равносильно двадцати пяти тысячам – такая сумма была для церкви неподъемной. Проггетт едва ли преувеличивал грозившую им опасность. Все указывало на то, что если не в текущем году, то в обозримом будущем колокола непременно проломают пол колокольни и рухнут в притвор. И, как твердил Проггетт, это вполне может случиться воскресным утром, когда в церковь потянется паства.

Дороти снова вздохнула. Эти несносные колокола то и дело напоминали о себе; случилось, ей даже снилось, как они рушатся с колокольни. В церкви вечно что-нибудь было неладно. Если не колокола, так кровля или стены; или сломанная скамья, за починку которой плотник хотел десять шиллингов; или требовались семь молитвословов, по полтора шиллинга каждый; или засорился печной дымоход, а работа трубочиста стоила полкроны¹⁶; а то нужно было заменить разбитое стекло или износившиеся мантии для певчих. И вечно ни на что не хватало денег. Сбор средств на новый орган, о покупке которого ректор распорядился пятью годами ранее – старый, по его словам, звучал, точно корова, страдающая астмой, – налагал на церковь непосильное бремя.

– Не знаю, *что* мы можем поделать, – сказала Дороти наконец. – Правда, не знаю. У нас совершенно нет денег. И даже если мы что-нибудь выручим за детский спектакль, все пойдет на орган. Органчики нам спуска не дают. Вы говорили с моим отцом?

– Да, мисс. Ему хоть бы хны. Говорит: «Пять веков колокольня простояла, и можно положить, что еще продержится несколько лет».

Это было в духе ректора. То обстоятельство, что церковь фактически осыпалась им на голову, нимало его не заботило; он просто отмахивался от этого, как и от всего другого, о чем не хотел думать.

– Что ж, я не знаю, *что* мы можем поделать, – повторила Дороти. – Конечно, впереди распродажа, через две недели. Я рассчитываю, что мисс Мэйфилл одарит нас чем-нибудь по-настоящему *хорошим*. Я знаю, она могла бы. У нее такая уйма мебели и разных вещиц, какими она не пользуется. Я на днях была у нее дома и видела прекраснейший чайный сервиз, стоявший в буфете, и она сказала мне, им никто к нему не прикасался двадцать с лишним лет. Если бы только она продала этот чайный сервиз! Это принесло бы нам столько фунтов. Нам остается только молиться, Проггетт, чтобы распродажа удалась. Молитесь, чтобы она принесла нам, самое меньшее, пять фунтов. Уверена, мы как-нибудь раздобудем денег, если от всего сердца будем молиться.

– Да, мисс, – сказал Проггетт уважительно и устремил взгляд вдаль.

В этот момент пропищал клаксон, и Дороти увидела синюю машину, большую и блестящую, медленно скользившую по дороге в сторону Главной улицы. Из машины выглядывал мистер Блайфил-Гордон, владелец свеклосахарного завода, в твидовом костюме песочного цвета, нелепо контрастировавшем с его прилизанной черноволосой головой. Когда машина приблизилась к Дороти, заводчик, обычно в упор ее не замечавший, улыбнулся ей так, словно души в ней не чаял. С ним в машине был его старший сын, Ральф – Уальф, как его называли

¹⁶ Полкроны равнялось двум с половиной шиллингам, или 1/8 фунта.

в семье, – жеманный юнец двадцати лет, писавший верлибры а-ля Элиот, и две дочери лорда Покторна. Все они расточали улыбки, даже дочери лорда. Дороти была поражена, ведь уже много лет никто из этих людей не удостоивал ее вниманием при встрече.

– Мистер Блайфил-Гордон очень любезен сегодня, – сказала она.

– А то, мисс. Иначе и быть не может. Выборы-то на носу, вот и старается. Прямо сахарная пудра, а не люди, лишь бы голос свой за них отдали, а на другой день в упор вас не узнают.

– Ах, выборы! – сказала Дороти растерянно.

Такие материи, как парламентские выборы, были настолько далеки от жизни прихода, что Дороти совершенно о них не думала – да она едва ли представляла себе разницу между либералами и консерваторами, социалистами и коммунистами.

– Что ж, Прогетт, – сказала она, выбросив выборы из головы и возвращаясь к насущным проблемам, – я поговорю с отцом и скажу ему, насколько все серьезно с колокольней. Думаю, лучшее, что мы можем сделать, это, наверно, устроить сбор средств по подписке, на одни колокола. Как знать, мы могли бы собрать пять фунтов. А может, и все десять! Как думаете, если я зайду к мисс Мэйфилл и попрошу начать подписку с пяти фунтов, она согласится?

– И думать забудьте, мисс, помяните мое слово. Мисс Мэйфилл до смерти испугается. Если она решит, что башня ненадежна, мы ее в церковь больше не затащим.

– О боже! И то правда.

– Да, мисс. *Ничего* мы не возьмем с этой старой с...

«С» зашипело и испарилось на губах Прогетта. Решив, что выполнил свой долг, доложив в очередной раз Дороти о колокольне, он коснулся кепки и отбыл, а Дороти села на велосипед и поехала на Главную улицу, чувствуя, как две заботы – долги по хозяйству и церковные траты – сплетаются у нее в уме на манер вилланеллы¹⁷.

Водянистое солнце с апрельским задором играло в прятки с перистыми облаками и заливало лучами Главную улицу, золотя фасады домов на северной стороне. Это была одна из тех сонных, старомодных улиц, которые вызывают восторг у приезжих, но воспринимаются совсем иначе местными, видящими за каждым окном своих врагов или кредиторов. Два здания сразу бросались в глаза: «Старая чайная лавочка» (гипсовый фасад с декоративными балками, витражные окна и кошмарная, подвернутая крыша, в духе китайской пагоды) и новая почта с дорическими колоннами. После пары сотен ярдов Главная улица раздваивалась, образуя крошечный рынок, с водокачкой, в настоящее время неисправной, и трухлявыми колодками. По обе стороны от водокачки располагались «Пес и бутылка», главная местная таверна, и «Консервативный клуб Найп-хилла». А в самом конце улицы стояла, словно плаха, злосчастная мясная лавка Каргилла.

Дороти завернула за угол, и на нее нахлынул шум и гам, в которые вплеталась мелодия «Правь, Британия¹⁸», исполняемая на тромбоне. Улица, обычно малолюдная, была запружена людьми, и со всех примыкавших улиц тянулось все больше народу. Очевидно, намечалось некое триумфальное шествие. Поперек улицы, между крышами «Пса и бутылки» и «Консервативного клуба», висел транспарант с бесчисленными синими вымпелами, а посередине реяло большое знамя со словами: «Блайфил-Гордон и империя!» К этому месту медленно продвигалась в окружении людей машина Блайфил-Гордона, расточавшего щедрые улыбки – то в одну, то в другую сторону. Перед машиной маршировал под предводительством надутого коротышки, игравшего на тромбоне, отряд «Бизонов»¹⁹, над которым вздымался огромный транспарант:

¹⁷ Жанр итальянской сатирической или любовно-лирической многоголосной песни XV–XVI вв.

¹⁸ Патриотическая песня Великобритании, написанная по поэме Джеймса Томсона на музыку Томаса Арна в 1740 г.

¹⁹ Королевский орден «Бизонов» – одна из крупнейших братских организаций в Соединенном Королевстве; основан в 1822 г.

Кто спасет Британию от красных?

Блайфил-Гордон.

Кто нальет пиво в твою кружку?

Блайфил-Гордон.

Блайфил-Гордон навсегда!

Из окна «Консервативного клуба» реял огромный британский флаг, а над ним сияли шесть румяных физиономий.

Дороти медленно ехала на велосипеде по улице, охваченная таким страхом перед лавкой Каргилла (ей предстояло миновать ее по пути к галантерее Соулпайпа), что почти не обращала внимания на шествие. Машина Блайфил-Гордона на минуту остановилась у «Старой чайной лавочки». Вперед, кофейная бригада! Казалось, каждая вторая дама городка бросилась навстречу заводчику, прижимая к груди собачек или хозяйственные сумки; они облепили машину, словно вакханки – колесницу Бахуса. Как-никак выборы – это практически единственная возможность выразить любезность первым лицам графства. Женщины восторженно восклицали:

– Удачи вам, мистер Блайфил-Гордон!

– *Дорогой* мистер Блайфил-Гордон!

– Мы *так* надеемся на вашу победу, мистер Блайфил-Гордон!

Улыбки мистера Блайфил-Гордона казались неиссякаемыми, однако яркость каждой из них была тщательно просчитана. Массам он улыбался общей, разбавленной улыбкой, не выделяя никого в отдельности; зато каждой из кофейных дам и шестерым румяным патриотам «Консервативного клуба» он улыбался в личном порядке; а избранным любимчикам молодой Уальф помахивал рукой и взвизгивал:

– Бъяво!

У Дороти упало сердце. Она увидела мистера Каргилла, стоявшего, подобно прочим лавочникам, на своем пороге. Это был высокий, грозного вида человек, в полосатом белосинем фартуке, с худощавым, выскобленным лицом, таким же багровым, как и заветренное мясо у него в витрине. Его зловещая фигура так захватила внимание Дороти, что она шла, не глядя перед собой, и врезалась в спину крупного, грузного человека, сошедшего на проезжую часть с тротуара.

Грузный человек обернулся.

– Силы небесные! – воскликнул он. – Никак Дороти!

– Ой, мистер Уорбертон! Вот неожиданность! А знаете, у меня было такое чувство, что я встречу вас сегодня.

– Неужто, пальчики зудят?²⁰ – сказал мистер Уорбертон, сияя всем своим крупным, румяным лицом. – Как сами-то? Боже, да что я спрашиваю? Вы еще обворожительней, чем всегда.

Он ущипнул Дороти за голый локоть (после завтрака она переделалась в платье без рукавов), и она отступила подальше – ей ужасно не нравилось, когда ее щипали или еще как-либо «тискали» – и сказала весьма сурово:

– Пожалуйста, не надо меня щипать. Мне это не нравится.

– Дороти, милая, ну как пропустить такой локоток? У меня это само собой выходит. Рефлективное действие – понимаете, о чем я?

– Когда вы вернулись в Найп-хилл? – сказала Дороти, загородившись от мистера Уорбертона велосипедом. – Я не видела вас больше двух месяцев.

– Позавчера вернулся. Но я ненадолго. Завтра снова отбываю. Повезу ребятню в Бретань. *Бастардов* своих.

²⁰ Отсылка к «Макбету» У. Шекспира: так одна из ведьм предчувствует появление Макбета.

Это слово – *бастардов* (Дороти неловко отвела взгляд) – он произнес с простодушной гордостью мистера Микобера²¹. Надо сказать, что он, с тремя своими «бастардами», считался одним из главных возмутителей спокойствия Найп-хилла. Мистер Уорбертон был человеком, не стесненным в средствах, называл себя художником – за год он создавал пять-шесть посредственных пейзажей – и открыто жил со своей домработницей. В Найп-хилле он появился за два года до того и купил недавно построенную виллу, неподалеку от дома ректора, но бывал там наездами. Четыре месяца назад его сожительница – она была иностранкой, поговаривали, что испанкой, – снова вызвала всеобщее возмущение, и посильнее прежнего, внезапно бросив его, после чего мистер Уорбертон отвез детей в Лондон, к какой-то сердобольной родственнице. Что касается его наружности, он был мужчиной импозантным и привлекательным, хотя совершенно лысым (что всячески старался скрыть), а держался с таким молодецким видом, что его внушительный живот казался лишь основанием могучего торса. Ему было сорок восемь лет, но он говорил, что сорок четыре. В городке его называли «старым проказником»; девушки его побаивались, и не без причины.

Мистер Уорбертон с отеческим видом приобнял Дороти за плечи и повел через толпу, без умолку разговаривая. Машина Блайфил-Гордона, объехав водокачку, направлялась в обратную сторону, все так же сопровождаемая свитой вакханок не первой молодости. Мистер Уорбертон с любопытством воззрится на них.

– Как понимать эти отвратные кривляния? – спросил он.

– О, они – как же это называется? – проводят предвыборную агитацию. Видимо, рассчитывают, что мы за них проголосуем.

– Рассчитывают, что мы за них проголосуем! Боже правый! – пробормотал мистер Уорбертон, провожая взглядом торжественный кортеж.

Воздев свою внушительную трость с серебряным набалдашником, которая всегда была при нем, он стал указывать – и весьма выразительно – то на одну, то на другую фигуру в этом шествии.

– Взгляните на них! Только взгляните! На этих льстивых кикимор и этого полудурка, скалящегося на нас, как мартышка на мешок с арахисом. Хоть когда-нибудь видели столь мерзкий спектакль?

– Зачем же так громко?! – пробормотала Дороти. – Кто-нибудь непременно услышит.

– Хорошо! – сказал мистер Уорбертон и заговорил громче прежнего. – Подумать только, что этот безродный пес всерьез имеет наглость думать, что мы должны с восторгом лицезреть его вставные зубы! А костюмчик, что он нацепил, – смотреть тошно. Нет ли кандидата от социалистов? А то я за него проголосую.

Несколько человек на тротуаре обернулись и уставились на него. Дороти увидела, как из-за края плетеных корзин, висевших в дверях одной лавки, на них злобно таращится тщедушный, желтушный старичок, мистер Туисс, торговец скобяными изделиями. Он уловил слово «социалистов» и отметил в уме мистера Уорбертона, как одного из них, а Дороти – как его сообщницу.

– Мне *правда* пора, – сказала Дороти поспешно, почувствовав, что лучше ей отделаться от мистера Уорбертона, пока он не сказал чего-нибудь еще более бестактного. – Мне еще столько всего надо купить. Что ж, пожелаю вам всего хорошего.

– О нет, постойте! – сказал мистер Уорбертон игриво. – Даже не думайте! Я – с вами.

Дороти катила велосипед по улице, а мистер Уорбертон шел рядом, продолжая говорить, выпятив грудь и убрав трость под мышку. От такого попробуй отделайся; вообще-то Дороти считала его другом, но иногда ей хотелось (ведь он был возмутителем спокойствия, а она –

²¹ Герой романа Чарльза Диккенса «Жизнь Дэвида Копперфилда», неунывающий авантюрист, живущий по принципу «что-нибудь подвернется».

дочерью ректора), чтобы он выбирал не такие людные места для общения с ней. Однако в данное время она была признательна ему за компанию, позволявшую ей миновать лавку Каргилла в относительном спокойствии – Каргилл все так же стоял на своем пороге и косился на Дороти со значением.

– Считаю за удачу, что встретил вас этим утром, – сказал мистер Уорбертон. – На самом деле, я вас искал. Как думаете, кто сегодня придет ко мне на обед? Бьюли – Роналд Бьюли. Вы ведь слышали о нем?

– Роналд Бьюли? Нет, не думаю. А кто он?

– Ну, как же! Роналд Бьюли, романист. Автор «Рыбешек и девчушек». Вы же читали «Рыбешек и девчушек»?

– Нет, боюсь, не читала. На самом деле, даже не слышала.

– Дорогая моя Дороти! Вы лишаете себя *такого* удовольствия. Вам непременно надо прочитать «Рыбешек и девчушек». Горячая штучка, заверяю вас, – настоящая первоклассная порнография. Как раз то, что вам нужно, чтобы стряхнуть с себя понятия девочек-скаутов.

– Я бы хотела, чтобы вы такого не говорили! – сказала Дороти, отводя взгляд с неловким чувством и тут же снова ища его взгляда, поскольку Каргилл неотрывно следил за ней.

– Так где живет этот мистер Бьюли? – добавила она. – Уж точно не здесь?

– Нет. Он из Ипсвича придет на обед; может, и заночует. Поэтому я вас и искал. Думал, вы могли бы захотеть познакомиться с ним. Как насчет прийти вечером ко мне на обед?

– Никак не могу прийти к вам на обед, – сказала Дороти. – Мне нужно позаботиться об ужине для отца и сделать еще тысячу дел. Я буду занята часов до восьми, если не позже.

– Что ж, приходите тогда после обеда. Я бы хотел, чтобы вы познакомились с Бьюли. Он интересный парень – очень *au fait*²² насчет блумсберийских²³ скандалов и всякого такого. Вам понравится общаться с ним. Вам пойдет на пользу улизнуть на несколько часов из церковного курятника.

Дороти не знала, что сказать. Ей бы хотелось прийти. Откровенно говоря, редкие визиты в дом мистера Уорбертона доставляли ей удовольствие. Но визиты эти, разумеется, были *очень* редкими – не чаще раза в три-четыре месяца; ей *не подобало* водить откровенную дружбу с таким человеком. И всякий раз, перед тем как принять его приглашение, она выясняла, будет ли у него дома кто-нибудь еще.

За два года до того, когда мистер Уорбертон только приехал в Найп-хилл (в то время он представлялся вдовцом с двумя детьми; чуть позже, однако, его домработница неожиданно разрешилась среди ночи третьим ребенком), Дороти познакомилась с ним на чаепитии и вскоре пришла к нему в гости. Мистер Уорбертон угостил ее замечательным чаем, развлек беседой о книгах, а затем, едва они допили чай, подсел к ней на диван и начал домогаться – грубо, бесстыдно, даже агрессивно. Фактически он попытался изнасиловать ее. Дороти ужасно перепугалась, но не настолько, чтобы не дать ему отпор. Вырвавшись из его объятий, она забилась в другой угол дивана, дрожа и чуть не плача. Однако мистер Уорбертон ничуть не смутился и был, казалось, даже доволен своей выходкой.

– О, как вы могли, как вы могли? – всхлипывала она.

– Да ведь не смог же, – сказал мистер Уорбертон.

– О, но как вы могли быть таким скотом?

– Ах, это? Легко, дитя мое, легко. Доживете до моих лет, поймете.

Несмотря на такое скверное начало, между ними установилась своеобразная дружба, так что Дороти даже сделалась предметом сплетен, окружавших мистера Уорбертона. В Кнайп-

²² *Фр.* В курсе.

²³ *Англ.* Bloomsbury Group – группа английских интеллектуалов, писателей и художников (Вирджиния и Леонард Вулф, Вита Сэквилл-Уэст, Литтон Стрейчи, Дора Каррингтон, Бертран Рассел и др.), известная запутанными сексуальными и творческими отношениями.

хилле стать предметом сплетен было нетрудно. Она бывала у него в гостях лишь изредка и старалась никогда не оставаться с ним наедине, но он, несмотря ни на что, находил возможности выразить ей нежные чувства. Впрочем, вполне по-джентльменски; он больше не пытался взять ее силой. Впоследствии, когда он заслужил ее прощение, мистер Уорбертон признался, что «продельвал это» с каждой привлекательной женщиной.

– Неужели вас не осаждали? – не удержалась Дороти.

– О, само собой. Но иногда я, знаете ли, добиваюсь своего.

Нередко люди задавались вопросом, как такая девушка, как Дороти, могла, пусть даже изредка, общаться с таким человеком, как мистер Уорбертон; но он обладал той властью над ней, какой богохульник и нечестивец всегда обладает над праведником. Это неоспоримый факт – оглядитесь и сами увидите, – праведников и грешников естественным образом тянет друг к другу. Лучшие сцены разврата в мировой литературе написаны, без исключения, ревностными праведниками или убежденными грешниками. Впрочем, Дороти, дитя двадцатого века, старалась выслушивать кошунственные замечания мистера Уорбертона с самым невозмутимым видом; не следует лстыть людям порочным, открыто ужасаясь их взглядам. К тому же мистер Уорбертон ей нравился. Пусть он подшучивал над ней и раздражал ее, но она чувствовала с его стороны, сама того толком не сознавая, такую симпатию и понимание, каких не находила больше ни в ком. При всех своих пороках, он был приятным человеком, а фальшивый блеск его речей (Оскар Уайлд, семижды разбавленный водой) казался ей образцом красноречия, шокируя и в то же время очаровывая. Вероятно, по той же причине ее пленяла возможность познакомиться с прославленным мистером Бьюли; хотя такую книжку, как «Рыбешки и девчущки», она едва ли стала бы читать, либо, прочитав, жестоко наказала бы себя. В Лондоне романисты, известное дело, встречаются на каждом шагу; но в таком городке, как Найп-хилл, к ним было отношение особое.

– А вы *уверены*, что придет мистер Бьюли? – сказала Дороти.

– Вполне уверен. Вместе со своей женой, надо полагать. Все пройдет в рамках приличий. На этот раз мы не будем изображать Тарквиния и Лукрецию.

– Ну, хорошо, – сказала наконец Дороти, – премного благодарна. Я подойду... около половины девятого, вероятно.

– Хорошо. Если сумеете прийти при свете дня, тем лучше. Помните, что моя соседка – миссис Сэмприлл. Можно не сомневаться, что после заката она будет бдеть: *qui vive*²⁴.

Миссис Сэмприлл была известной сплетницей – точнее сказать, самой известной из всех местных сплетниц. Получив согласие Дороти (он все время уговаривал ее заглядывать к нему почаще), мистер Уорбертон сказал ей «*au revoir*» и раскланялся.

Дороти купила в галантерее Соулпайпа два с половиной ярда материи для занавесок и только отошла от стойки, как услышала у себя над ухом тихий, печальный голос. Это была миссис Сэмприлл, стройная сорокалетняя женщина, с бледным изящным лицом в обрамлении блестящих темных волос, вызывавшим в памяти, благодаря меланхолическому выражению, портреты кисти Ван Дейка. Она вышла из своего укрытия у окна, за стопкой тканей с набивными узорами, откуда наблюдала за разговором Дороти с мистером Уорбертоном. Всякий раз, как вы бывали заняты чем-то, не предназначенным для глаз миссис Сэмприлл, можно было не сомневаться, что она где-то поблизости. Казалось, она обладала, подобно арабским джиннам, силой возникать именно там, где ее хотели видеть меньше всего. Никакое мало-мальски предосудительное действие не ускользало от ее бдительного взгляда. Мистер Уорбертон говорил, что она напоминает ему четырех тварей Апокалипсиса: «Они же все усеяны глазами и не знают отдыха ни днем ни ночью».

²⁴ Кто идет? (оклик часового здесь используется в значении «осторожнее» или «берегитесь»)

– Дороти, *милая*, – промурлыкала миссис Сэмприлл сострадательным голосом, словно долг велел ей раскрыть плохие новости самым бережным образом. – Я *так* хотела поговорить с тобой. Должна сообщить тебе нечто *чудовищное* – ты будешь просто *в ужасе!*

– Что такое? – сказала Дороти смиренно, хорошо представляя, что за этим последует, поскольку все разговоры миссис Сэмприлл были об одном.

Выйдя из лавки, они пошли по улице: Дороти катила велосипед, а миссис Сэмприлл семенила рядом жеманной походкой и говорила, придвигая свой рот все ближе и ближе к уху Дороти по мере того, как ее рассказ делался все более скабрёзным.

– Не случилось ли тебе заметить, – начала она, – одну девушку в церкви, которая сидит в конце скамьи, у самого органа? *Приятная* такая девушка, рыженькая. Понятия не имею, как ее зовут, – пояснила миссис Сэмприлл, зная имена и фамилии всех мужчин, женщин и детей Найп-хилла.

– Молли Фримэн, – сказала Дороти. – Племянница зеленщика, Фримэна.

– Ах, Молли Фримэн²⁵? Так *вот* как ее зовут? А я-то думала. Что ж...

Изящные красные губы придвинулись к уху Дороти, и миссис Сэмприлл, понизив голос до хриплого шепота, стала изливать поток отборной клеветы на Молли Фримэн и шестерых молодых людей, работавших на свеклосахарном заводе. Очень скоро эта история обросла такими подробностями, что Дороти, покраснев до корней волос, отстранилась от миссис Сэмприлл и встала на месте.

– Я не стану этого слушать! – сказала она резко. – Я *знаю*, что это неправда. Молли Фримэн *не могла* так поступить! Она такая хорошая, тихая девушка – она была у меня одной из лучших девочек-скаутов, и всегда с такой охотой помогает на церковных базарах, и не только. Я совершенно уверена, что она бы не стала делать того, о чем вы рассказываете.

– Но, Дороти, *милая!* Ведь я же сказала тебе, что видела это своими глазами...

– Все равно! Нехорошо говорить такое о людях. Даже если это правда, не надо повторять такое. В мире и так предостаточно зла, чтобы еще нарочно его выискивать.

– *Выискивать!* – вздохнула миссис Сэмприлл. – Но, *милая* Дороти, как будто такое *нужно* выискивать! Беда в том, что просто *невозможно* не видеть всей этой чудовищной порочности, творящейся вокруг.

Миссис Сэмприлл всегда искренне поражалась, если ее обвиняли в том, что она *выискивает* скандальные темы. Она возражала, что ничто не причиняет ей таких страданий, как зрелище человеческой развращенности; но это зрелище неотступно ее преследовало, и только неукоснительное чувство долга заставляло ее делиться увиденным с остальными. Замечания Дороти отнюдь не остудили ее пыл, а лишь привели к тому, что она заговорила об общей развращенности Найп-хилла, так что история Молли Фримэн растворилась в массе других. От Молли с ее шестью ухажерами миссис Сэмприлл перешла к доктору Гейторну, медицинскому инспектору, который обрюхатил двух медсестер из «Коттедж-госпиталя», а далее – к миссис Корн, жене секретаря городского совета, которую нашли в поле мертвецки пьяной (и ладно бы алкоголем – одеколоном), и далее, к курату Св. Ведекинда в Миллборо, запятнавшему себя несмываемым позором с одним мальчиком из хора; и это было только начало. Стоило подольше послушать миссис Сэмприлл, и складывалось впечатление, что едва ли во всем городе и его окрестностях сыщется хоть одна душа, не хранящая некий постыдный секрет.

Надо отметить, что ее истории были не только грязными и лживыми, но и отличались в большинстве своем некой чудовищной извращенностью. По сравнению с другими местными сплетницами, она была словно Фрейд рядом с Боккаччо. Доверчивый слушатель проникался уверенностью, что Найп-хилл с населением в пару тысяч человек представляет собой скопище пороков страшнее, чем Содом, Гоморра и Буэнос-Айрес вместе взятые. В самом деле, стоило

²⁵ Англ. Freeman – буквально «свободный мужчина».

задуматься об этих жителях Города беззакония последних дней – от управляющего банком, двоеженца, который тратит деньги клиентов на своих детей, до буфетчицы из «Пса и бутылки», подающей выпивку в задней комнате нагишом, на бархатных шпильках, и от старой мисс Шеннон, учительницы музыки, втихаря хлещущей джин и строчащей подложные письма, до Мэгги Уайт, дочери пекаря, родившей троих детей от родного брата, – стоило вам задуматься об этих людях, молодых и старых, богатых и бедных, но так или иначе погрязших во всех вавилонских пороках, вы поражались, как еще с небес не пролился огонь, чтобы пожрать весь этот нечестивый городок. Но если слушать эти рассказы достаточно долго, в какой-то момент они становились не просто чудовищными, но и утомительными. Ведь в городке, где *каждый*, кого ни возьми, двоеженец, педераст или наркоман, самая сальная история теряет свою соль. По существу, миссис Сэмприлл была не столько злоязычницей, сколько занудой.

Что же касалось доверия горожан к ее историям, ситуация складывалась неоднозначная. Иногда ее клеймили как завзятую сплетницу, которой нельзя верить; а иногда ее наветы достигали цели, и какой-нибудь бедолага не мог потом отмыться несколько месяцев, а то и лет. Она определенно преуспела в том, чтобы расстроить не менее полудюжины помолвок и спровоцировать бесчисленные ссоры между супругами.

Дороти уже довольно продолжительное время безуспешно пыталась отделаться от миссис Сэмприлл. Она все дальше и дальше отступала от тротуара на проезжую часть и так дошла до другой стороны; но миссис Сэмприлл неотрывно шла за ней, неумолчно шепча ей на ухо. Только дойдя до конца Главной улицы, Дороти набралась храбрости для решительного рывка. Она остановилась и поставила правую ногу на педаль.

– Я на самом деле больше не могу задерживаться, – сказала она. – Мне нужно переделать тысячу дел, и я уже опаздываю.

– Ой, но, Дороти, милая! Я просто *должна* сказать тебе что-то еще – что-то *очень* важное!

– Извините... Я так ужасно спешу. Пожалуй, в другой раз.

– Это касается *ужасного* мистера Уорбертона, – затараторила миссис Сэмприлл, чтобы Дороти не осталась в неведении. – Он только вернулся из Лондона, и знаешь – я *особенно* хотела сказать тебе вот что, – ты знаешь, он вообще-то...

Но тут Дороти решила, что ей нужно во что бы то ни стало отвязаться от нее. Это казалось ей верхом бестактности – обсуждать с миссис Сэмприлл мистера Уорбертона. Дороти села на велосипед и закрутила педали, бросив напоследок:

– Извините... Мне совершенно *некогда!*

– Я хотела сказать тебе, он сошелся с новой женщиной! – прокричала ей вслед миссис Сэмприлл, забыв в приливе возбуждения о всякой конспирации.

Но Дороти стремительно повернула за угол, не оглядываясь и делая вид, что ничего не услышала. Это было опрометчиво, поскольку миссис Сэмприлл не терпела пренебрежения к себе. Если вы не желали выслушивать ее откровения, она объясняла это вашей собственной порочностью, и не успевали вы понять, что случилось, как сами становились предметом ее сплетен.

По пути домой Дороти отметила, что думает недобрые мысли о миссис Сэмприлл, и хорошенько себя ущипнула. Кроме того, ее посетила неожиданная тревожная догадка: миссис Сэмприлл непременно узнает о ее визите к мистеру Уорбертону и, вероятно, уже к завтрашнему дню раздует из этого очередной скандал. Эта мысль вызвала у Дороти дурное предчувствие, усилившееся, когда она подъехала к дому и увидела у ворот местного дурачка, Глупого Джека, с треугольной алой физиономией, похожей на землянику, который стегал воротный столб ореховым прутом.

4

Было начало двенадцатого. День, рядившийся с утра в апрельскую свежесть, словно перезревшая, но неунывающая вдовушка – в молодку, вспомнил, что на дворе август, и дохнул зноем.

Дороти приехала на велосипеде в деревушку Феннелвик, в миле от Найп-хилла. Первым делом она отдала миссис Льюин мозольный пластырь, а затем направилась к старой миссис Пифер, отдать вырезку из «Дейли мейл» о чае из ангелики от ревматизма. Солнце, палившее с безоблачного небосвода, жгло ей спину через платье, пыльная дорога дрожала в волнах марева, а прогретые равнинные луга, привлекавшие оголтело щебетавших жаворонков, были до того зелены, что резали глаза. Иными словами, «денек стоял славный», по выражению людей, которым не нужно работать.

Дороти прислонила велосипед к воротам коттеджа Пиферов, достала из сумки платок и вытерла руки, вспотевшие от велосипедного руля. В резком солнечном свете лицо ее казалось изможденным и блеклым. В этот утренний час она выглядела не моложе своих лет и даже, пожалуй, постарше. В течение дня – день ее длился в среднем семнадцать часов – она поочередно испытывала периоды усталости и подъема; на середину утра, когда она начинала наносить свои «визиты», приходился один из периодов усталости.

Эти визиты – дома прихожан были так разбросаны по округе, что Дороти вырубал только велосипед, – занимали примерно половину ее дня. Каждый божий день, кроме воскресений, Дороти совершала от полудюжины до дюжины визитов. Она входила в тесные жилища, садилась в продавленные, пропыленные кресла и слушала сплетни загруженных работой, растрепанных домохозяек; она торопливо, иной раз по полчаса, помогала со штопкой и гладкой и читала главы из «Евангелий», меняла перевязки на «увечных ногах» и утешала недужных рожениц; качала на деревянной лошадке немых детей, хватавших ее за ворот платья липкими пальчиками; советовала удобрения для фикусов и имена для новорожденных; и выпивала бесчисленные «чашечки чаю» – женщины из рабочего класса неизменно угощали ее «чашечкой чаю» из вечно кипевших чайников.

По большей части работа эта была на редкость неблагодарной. Все говорило о том, что немногие, очень немногие женщины имели хотя бы смутное представление о христианской жизни, которую Дороти пыталась помочь им вести. Были среди них пугливые и подозрительные, смотревшие на нее с вызовом и находившие всевозможные отговорки, чтобы не приходить на Святое Причастие; были и такие, кто изображал благочестие лишь затем, чтобы добраться до скромных сумм из церковного ящика для пожертвований; а те, кто радовался визитам Дороти, видели в ней прежде всего слушательницу, которой можно поплакаться о «похождениях» своих мужей или о бесконечно умиравших близких («А в вены ему навтыкали стеклянных трубок» и т. д. и т. п.), с описанием отвратительных физиологических подробностей. Не меньше половины из тех, кого Дороти навещала – и она это знала, – были в душе неверующими, имея на то какие-то свои туманные, неблагоприятные основания. Она сталкивалась с этим дни напролет – с расплывчатым, безотчетным неверием, столь обычным у полуграмотных людей, против которого бессильны любые доводы. Что бы Дороти ни делала, ей никак не удавалось увеличить постоянную численность паствы хотя бы до двух десятков человек. Отдельные женщины обещали, что будут причащаться, и действительно приходили месяц-другой, а потом прекращали. Безнадежней всего было с молодыми женщинами. Они даже не вступали в местные отделения церковных кружков, задуманных для их же блага, – Дороти вела три таких кружка, не считая того, что была капитаном девочек-скаутов. «Обруч надежды»²⁶ и «Спутник супруже-

²⁶ Англ. Band of Hope (англ.) имеет переносное значение старой девы, ищущей жениха.

ства» почти никто не посещал, а «Союз матерей» собирался лишь потому, что его скрепляли сплетни, шитье и нескончаемые запасы крепкого чая. Что и говорить, работа была неблагодарной; настолько неблагодарной, что могла бы показаться Дороти совершенно тщетной, если бы она не знала, что чувство тщетности – это тончайшая уловка дьявола.

Дороти постучалась в перекошенную дверь дома Пиферов, из-под которой просачивался тоскливый дух вареной капусты и струйка воды из кухни. За долгие годы Дороти так хорошо усвоила все эти запахи, что могла узнать каждый дом с закрытыми глазами. Какие-то из них пахли до крайности своеобразно. К примеру, дом старого мистера Томбса²⁷ – ушедшего на покой букиниста с длинным облупленным носом, на котором сидели лекторские очки, целыми днями не встававшего с кровати в тусклой комнате, – отличался едким, звериным запахом.

При первом впечатлении казалось, что старик укрыт толстым меховым покрывалом внушительных размеров. Но стоило вам коснуться этого покрывала, как оно приходило в движение и стремительно разлеталось по всей комнате. Оно состояло сплошь из кошек – двадцати четырех, если точно. Мистер Томбс объяснял, что они «не дают ему мерзнуть». Почти в каждом из этих домов присутствовал общий запах из старых пальто и сточной воды, на который накладывались прочие, индивидуальные запахи: выгребной ямы, вареной капусты, невымытых детей и едкий, горьковатый дух рабочей одежды, пропитанной многолетним потом.

Дверь открыла миссис Пифер – дверь, как обычно, подалась не сразу, а потом так ударила о стену, что сотрясся весь дом. Хозяйка была дородной, сутулой, седой женщиной с растрепанными волосами, в обвисшем переднике и стоптанных шлепанцах.

– Ой, неужели мисс Дороти! – воскликнула она уставшим, невнятным, но не лишенным радушия голосом.

Приобняв Дороти большими руками с шишковатыми костяшками, лоснившимися, точно ободранные луковицы, она чмокнула ее в щеку и повела в захлавленную гостиную.

– Пифер на работе, мисс, – объяснила хозяйка. – Пошел к доктору Гейторну, вскапывает ему клумбы цветочные.

Мистер Пифер подрабатывал садовником. Чета Пиферов – обоим было за семьдесят – относились к числу немногих подлинно благочестивых прихожан из списка Дороти. Миссис Пифер вела унылую, сомнамбулическую жизнь, шаркая туда-сюда с постоянно ноющей шеей – дверные притолоки были слишком низкими для нее – между колодцем, раковиной, камином и крохотным огородиком. Кухня содержалась в относительном порядке, но там было ужасно жарко, и в спертом воздухе висела вековечная пыль. У стены напротив камина миссис Пифер устроила нечто вроде аналоя из засаленного лоскутного коврика, лежавшего перед маленькой неисправной фисгармоникой, на которой стояли олеография²⁸ распятия с вышитыми бисером словами: «Бди и молись» и фотография мистера и миссис Пифер в день их свадьбы, в 1882 году.

– Бедняга Пифер! – продолжала миссис Пифер своим гнетущим голосом. – В его-то годы ковыряться в земле, с его ревматизмом – *швах!* Разве не лютая наша доля, мисс? А у него такая что ли боль между ногами, мисс, он и объяснить толком не может – ужась, как мучается, уже какой день. Разве не горькая наша доля, мисс, бедным работягам, жить такой вот жизнью?

– Какая жалость, – сказала Дороти. – Но я надеюсь, сами вы получше себя чувствуете, миссис Пифер?

– Ах, мисс, какое там *получше*. Мне уже *ничем* не получшеет. Не в *этом* мире, нетушки. Мне уже не получшеет, не в этом падшем, дольном мире.

²⁷ Tomb (англ.) – «склеп», «гробница».

²⁸ Олеография (от лат. oleum – «масло» и др. – греч. γράφω – «пишу», «рисую») – многокрасочная литография с картины, писанной масляными красками.

– О, не надо говорить так, миссис Пифер! Я надеюсь, вы еще долго будете с нами.

– Ах, мисс, не знаете вы, как я хворала всю неделю! Ревматизм замучил ноги старые мои – то скрутит, то отпустит – на заду, по всем ногам. Поутру иной раз чую, не дойду до огорода, луку горсть надергать. Ах, мисс, в тяжком мире мы живем. Али нет, мисс? В тяжком, грешном мире.

– Но мы ведь не должны забывать, миссис Пифер, что грядет лучший мир. Эта жизнь – лишь пора испытаний, просто чтобы укрепить нас и научить смирению, чтобы мы были готовы к небесам, когда придет пора.

Тут же настроение миссис Пифер переменялось к лучшему. Дело было в слове «небеса». Миссис Пифер могла бесконечно говорить о двух вещах: счастливые небеса и горестная земная жизнь. Замечание Дороти подействовало на нее словно заклинание. И пусть в тусклых глазах старухи не загорелся огонек, но в голосе возникло некоторое воодушевление.

– Ах, мисс, вот же вы сказали! Это истое слово, мисс! Так и мы с Пифером говорим себе. И тока это вот и помогает нам держаться – одна мысль о небесах; вот уж где мы отдохнем так отдохнем. Как мы ни страдаем, все воздастся на небесах, верно же, мисс? Самое наималейшее страдание, все тебе сторицею и тысячекратно воздастся. ВОТ где истина, а, мисс? Все отдохнем на небесах – там будет мир и покой, и никакого ревматизма, ни тебе копания, ни готовки, ни стирки – ничегошеньки. Вы же *верите* в это, верно же, мисс Дороти?

– Конечно, – сказала Дороти.

– Ах, мисс, вы бы знали, какое нам утешение – самые мысли о небесах! Пифер мне говорит, как домой придет под ночь и ревматизм нас скрутит: «Не горюй, родная, – говорит, – нас уж небеса заждались», – говорит. «Небеса для таких, как мы с тобой, – говорит, – для таких вот работающих бедолаг, вроде нас с тобой, кто трезвился, и Бога чтит, и от церкви не отлынивал». Так-то оно лучше, а, мисс Дороти: в этой жизни бедняки, зато в той богачи. Не то что богачам: у них-то ни автомашины, ни дома красивые не избегнут червя неусыпающего и огня неугасающего. До чего красиво сказано, так-то. Как думаете, прочтете со мной молитовку, мисс Дороти? Я всю утру ждала, не молилась.

Миссис Пифер в любое время дня и ночи была готова предложить Дороти «молитовку», как другие хозяйки предлагали ей «чашечку чаю». Встав коленями на коврик, они прочли «Отче наш» и краткую недельную молитву²⁹; а затем Дороти, по просьбе миссис Пифер, прочитала ей притчу о богаче и Лазаре.

– Аминь! – сказала миссис Пифер. – Это слово истое, а, мисс Дороти? «И отнесен был ангелами на лоно Авраамово»³⁰. Красота-то какая! Ох же, красота неизреченная! Аминь, мисс Дороти, аминь!

Дороти отдала миссис Пифер газетную вырезку о чае из ангелики от ревматизма, а затем, услышав, что ей сегодня слишком нездоровится, чтобы набрать из колодца воду, сходила и набрала ей три ведра. Колодец был очень глубоким и с таким низким краем, что оставалось только удивляться, как старуха до сих пор не свалилась туда; к тому же отсутствовал ворот – ведро приходилось вытаскивать за веревку руками.

После этого они еще немного посидели, и миссис Пифер поговорила о небесах. Поразительно, какое место в ее мыслях занимали небеса; но еще больше поражала отчетливость, достоверность, с какой она их описывала. Золотые улицы и врата из восточных жемчугов были для нее так реальны, словно она видела их своими глазами. А ее видения доходили до самых конкретных, самых земных подробностей. Ох, и мягкие там постели! Ох, и восхитительная пища! Как же хороша шелковая одежда – чистая каждое утро! И никакой работы и в помине, абсолютно никакой! Едва ли не каждый миг своей жизни миссис Пифер находила поддержку и

²⁹ Особый вид молитвы в англиканской и католической церквях.

³⁰ Евангелие от Луки: 16, 22. Синодальный перевод.

утешение в видениях небес, и ее смиренные жалобы на жизнь «работающих бедняков» причудливым образом уравновешивались той отрадой, какую давала ей мысль, что не кому иному, как «работающим беднякам», заповеданы небеса. Это была своего рода сделка с Богом: тяготы земной жизни гарантировали вечное блаженство. Вера миссис Пифер была *слишком* велика, если такое возможно. Ибо, как ни странно, но уверенность, с какой миссис Пифер говорила о небесах – словно о некоем элитном санатории, – странным образом смущала Дороти.

Дороти собралась уходить, и миссис Пифер стала благодарить ее – весьма горячо – за участие, а под конец, как обычно, еще раз пожаловалась на свой ревматизм.

– Обязательно заварю чай из ангелики, – заключила она, – и спасибо вам большое, мисс, что сказали мне. Не то чтобы я думала, что он мне шибко поможет. Ах, мисс, кабы вы знали, до чего лютый ревматизм меня мучил эту неделю! По ногам, на задку – вот где – точно кто знай себе тычет раскаленной кочергой, а я сама, кажись, не дотянусь, хорошенько растереть их. Я не слишком много попрошу, мисс, чтобы вы маленько ноги мне растерли, пока не ушли? У меня бутылёк «Эллимана»³¹ под раковинной.

Дороти тайком сильно ущипнула себя. Она ожидала такой просьбы, поскольку ей уже не раз случалось растирать миссис Пифер, и ей это *не нравилось*. Дороти гневно отчитала себя.

«Ну-ка, Дороти! Хватит чваниться, пожалуйста! Иоанн, хiii, 14»³².

– Конечно, миссис Пифер! – сказала она с готовностью.

Они поднялись по узкой, покосившейся лестнице, потолок над которой нависал в одном месте так низко, что приходилось сгибаться почти вдвое. Спальня освещалась одним квадратным окошком, не открывавшимся двадцать лет из-за вьюнка, опутавшего раму снаружи. Воняло мочой и камфарной настойкой опия. Почти все пространство занимала огромная двуспальная кровать с вечно влажными простынями и пуховой периной, вздымавшейся там и сям, словно контурная карта Швейцарии. Старуха со стонами забралась на кровать и легла на живот. Дороти открыла бутылочку «Эллимана» и принялась тщательно растирать ее толстые, дряблые ноги с серыми венами.

Выйдя на воздух, в знойное марево, она села на велосипед и стремительно покатила домой. Солнце палило ей в лицо, но воздух теперь казался сладким и свежим. Она была счастлива, счастлива! Она всегда испытывала приливы ни на что не похожее счастья, разделавшись со своими утренними «визитами»; и, странно сказать, не могла понять причину. На лугу молочного фермера Борлейса паслись рыжие коровы, по колено в переливчатых волнах травы. Ноздри Дороти наполнил коровий запах – дистиллят ванили и свежего сена. И хотя работы у нее оставалось предостаточно, она уступила желанию чуть задержаться и остановила велосипед у ворот пастбища Борлейса, глядя, как корова с влажным кораллово-розовым носом, трется подбородком о воротный столб и смотрит на нее туманным взглядом.

Дороти увидела шиповник по ту сторону изгороди, уже отцветший, и ей так захотелось посмотреть на него поближе, что она перелезла через ворота. Опустившись на колени в заросли сорняков, она почувствовала жар, исходящий от земли. В ушах у нее жужжали невидимые сонмы насекомых, и всю ее окутало горячее душистое дыхание буйной растительности. Рядом рос высокий фенхель, с вьющимися побегам, наподобие изумрудно-зеленых лошадиных хвостов. Дороти притянула к лицу веточку фенхеля и вдохнула насыщенный сладкий запах. Его сила так ее ошеломила, что закружилась голова. Она впитывала его, наполняя легкие. Чудесный, просто чудесный аромат – аромат летних дней, детских радостей, пряных островов, омываемых теплой пеной восточных морей!

³¹ Англ. «Elliman's embrocation» – мазь для суставов.

³² «Итак, если Я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу». Евангелие от Иоанна. Синодальный перевод.

Сердце ее преисполнилось восторгом. Этот таинственный восторг перед красотой земли и самой природы Дороти принимала – возможно, ошибочно – за любовь Бога. Она сидела в жаркой траве, вдыхая душистые ароматы и слыша дремотный гомон насекомых, и на миг ей показалось, что она слышит величавое славословие, неумолчно возносимое землей и всеми тварями земными своему создателю. Вся растительность, вся листва, цветы, трава – все это сияло, дрожало и пело от восторга. А с неба лили музыку невидимые жаворонки, целые хоры жаворонков. Все богатства лета, тепло земли, пение птиц, запах коров, жужжание бесчисленных пчел, круживших и паривших, точно фимиам, курящийся над алтарями. Посему мы с ангелами и архангелами! Дороти начала молиться, и с минуту молилась истово и самозабвенно, отдаваясь блаженному восторгу славословия. А затем вдруг отдала себе отчет, что целует веточку фенхеля, касавшуюся ее лица.

Она тут же опомнилась и отпрянула. Что она делала? Кого славословила – Бога или лишь землю? Восторг оставил ее сердце, уступив место холодному, неприятному чувству, что она выпала едва ли не в языческий экстаз. Дороти отчитала себя.

«Ну, *хватит*, Дороти! Пожалуйста, никакого поклонения природе!»

Отец предостерегал ее от этого. Она не раз слышала, как он порицал такие настроения в проповедях; он говорил, что это не что иное, как пантеизм и – это его особенно коробило – отвратительная новомодная причуда. Дороти взялась за ветку шиповника и трижды уколола руку, чтобы напомнить себе о Трех Лицах Троицы, а затем перелезла через ворота и села на велосипед.

Из-за края изгороди показалась широкополая шляпа, черная и пропыленная, и стала приближаться к Дороти. Это был отец Макгайр, тоже на велосипеде, римокатолический священник, объезжавший своих прихожан. Он отличался таким корпулентным сложением, что велосипед под ним терялся, точно ти³³ под мячиком для гольфа. На его румянном, довольном лице играла чуть ехидная улыбка.

Дороти внезапно упала духом. Она покраснела и непроизвольно потянулась рукой к кресту под платьем. Отец Макгайр приближался к ней с самым невозмутимым видом. Она попыталась улыбнуться и промямлила:

– Доброе утро.

Но он проехал мимо, едва взглянув на нее; его взгляд скользнул по ее лицу и проследовал дальше, с таким видом, словно ее просто не существовало. Это был форменный отлуп. Дороти – форменный отлуп, увы, был ей не по силам – села на велосипед и поехала своей дорогой, борясь с недобрыми мыслями, всегда появлявшимися у нее после встречи с отцом Макгайром.

Лет за пять или шесть до того, когда отец Макгайр вел похоронную службу на кладбище Св. Этельстана (римокатолического кладбища в Найп-хилле не было), между ним и ректором возник спор о том, где отцу Макгайру следует облачаться в рясу (в церкви или не в церкви), и два священника стали препираться через разверстую могилу. С тех пор они не разговаривали. Уж лучше так, говорил ректор.

Что касалось прочих священнослужителей Найп-хилла – мистера Уорда, конгрегационалистского священника, мистера Фоли, уэслианского³⁴ пастора и крикливого лысого старовера, устраивавшего оргии в часовне Эбenezера, – ректор называл их шайкой презренных раскольников и строжайше запрещал Дороти всяческое общение с ними.

³³ Англ. Tee – особая подставка в форме буквы «Т» для мячика в гольфе.

³⁴ Уэслианство – одно из направлений протестантизма.

5

Был полдень. В просторной, старинной теплице, стеклянная крыша которой от времени и грязи покрылась тускло-зеленым налетом, мерцавшим, словно старый римский стакан, Дороти со своими подопечными сбивчиво и шумно репетировала «Карла Первого».

Сама Дороти не участвовала в репетиции, но зато отвечала за реквизит. Она мастерила костюмы – большую их часть – для всех пьес, которые ставила со школьниками. Собственно, постановками и репетициями занимался Виктор Стоун – Дороти звала его просто Виктор, – директор церковной школы. Это был щуплый вспыльчивый брюнет двадцати семи лет, одетый в темную строгую одежду, и в настоящий момент он отчаянно махал свитком рукописи в сторону шести детей, недоуменно смотревших на него. На длинной скамье у стены еще четверо детей поочередно осваивали «звуковые эффекты», стуча кочергами, и вздорили из-за замызганной коробочки «Мятных драже», по пенни за сорок штук.

В теплице было ужасно жарко и сильно пахло клеем и кислым детским потом. Дороти сидела на полу, зажав во рту булавки, а в руке – ножницы, и стремительно нарезала коричневую оберточную бумагу на длинные узкие полоски. Рядом на примусе булькала банка клея, а за спиной у Дороти на шатком, заляпанном чернилами рабочем столе швейная машинка соседствовала с ворохом недоделанных костюмов, стопкой листов оберточной бумаги, мотками бечевы, брусками сухого клея, деревянными мечами и открытыми банками с краской. Мысли Дороти перескакивали с двух пар ботфортов семнадцатого века, которые предстояло изготовить для Карла Первого и Оливера Кромвеля, на сердитые окрики Виктора, распалившегося до крайности, как с ним всегда случалось на репетициях. Сам он был прирожденным актером, и его выводили из себя тяготящие репетиции с не слишком одаренными детьми. Он шагал взад-вперед, отчитывая детей, не стесняясь в выражениях, и периодически хватал со стола деревянный меч и делал грозные выпады в чью-нибудь сторону.

– Не можешь, что ли, поживее? – кричал он, тыча в живот малолетнего остолопа. – Не тупи! Говори осмысленно! У тебя вид, как у трупа, которого закопали и выкопали. Чего ты там бубнишь себе под нос? Встань и рвякни на него. Ты же играешь убийцу!

– Перси, иди сюда! – прокричала Дороти, не вынимая изо рта булавок. – Быстро!

Она мастерила доспехи – самая паршивая работа, не считая жутких ботфортов, – из оберточной бумаги и клея. Внушительный опыт позволял Дороти смастерить почти что угодно из этих нехитрых материалов, даже вполне приличный завитой парик, с основой из оберточной бумаги и волосами из крашеной пакли. За год она тратила прорву времени, возясь с клеем, бумагой, суровой марлей и прочим инвентарем постановщика-любителя. Различные церковные фонды так отчаянно нуждались в средствах, что, помимо базаров и распродаж, едва ли не каждый месяц приходилось ставить школьные спектакли, живые картины и мимические интерлюдии.

Перси – Перси Джоуэтт, сын кузнеца, кудрявый невысокий мальчуган, – слез со скамьи и предстал перед Дороти, ерзая с несчастным видом. Она схватила лист оберточной бумаги, приложила к нему, проворно вырезала отверстия для головы и рук, обернула вокруг талии и быстро заколола, изобразив подобие нагрудника. Между тем пространство оглашалось следующей многоголосицей.

ВИКТОР: Давайте же, давайте! Входит Оливер Кромвель – это ты! **НЕТ**, не так! По-твоему, Оливер Кромвель входит, как побитая дворняжка? Расправь плечи. Выпяти грудь. Брови насупь. Уже лучше. Теперь давай, *Кромвель*: «Ни с места! У меня в руке пистоль!» Ну.

ДЕВОЧКА: Извините, мисс, мама сказала, чтобы я сказала вам, мисс...

ДОРОТИ: Стой смирно, Перси! Бога ради, не вертись!

КРОМВЕЛЬ: Низ места! У меня вру кепи столь!

МАЛЕНЬКАЯ ДЕВОЧКА НА СКАМЬЕ: Мистер! Я уронила леденец! [хныча] Уронила ледене-е-ец!

ВИКТОР: Нет-нет-НЕТ, Томми! Нет-нет-НЕТ!

ДЕВОЧКА: Извините, мисс, мама сказала, чтобы я сказала вам, что она не смогла сшить мне трико, как обещала, мисс, потому что...

ДОРОТИ: Еще раз так сделаешь, я булавку проглочу.

КРОМВЕЛЬ: Ни с места! У меня в руке...

МАЛЕНЬКАЯ ДЕВОЧКА [плача]: Леде-е-е-енчик мой!

Дороти схватила кисточку с клеем и стала лихорадочно обклеивать внахлест полосками оберточной бумаги доспехи Перси, снизу доверху, спереди и сзади, но была вынуждена прерваться из-за бумаги, приклеившейся к пальцам. Через пять минут кираса из бумаги и клея сделалась ее стараниями настолько прочной, что могла бы, высохнув, служить бронезилетом. Перси, «закованный в латы», с острым бумажным краем, врезавшимся в подбородок, покорно сносил неудобства, точно собака, которую моют. Дороти взяла ножницы, надрезала сбоку нагрудник и, сняв его, поставила сохнуть и сразу принялась за другого ребенка. Тут же раздавались устрашающие «звуковые эффекты» – это дети отработывали звуки выстрелов и лошадиного галопа. Пальцы Дороти все больше зарастали клеем, но она время от времени споласкивала их в ведре с теплой водой, стоявшем наготове. За двадцать минут она успела сделать основную часть трех нагрудников. Их еще предстояло довести до ума, раскрасить алюминевой краской и зашнуровать по бокам; а после нужно будет приниматься за подолы и – самое худшее – за шлемы. Виктор между тем размахивал мечом и, перекрикивая «галопирующих лошадей», изображал поочередно Оливера Кромвеля, Карла Первого, «круглоголовых», «кавалеров», крестьян и придворных дам. Дети уже подустали – они зевали, куксились и украдкой пинали и щипали друг дружку. Разделавшись с нагрудниками, Дороти сгребла часть хлама со стола, села за швейную машинку и стала шить зеленый вельветовый камзол из суровой марли с зеленым отливом – с расстояния будет смотреться в самый раз.

Прошли еще десять минут лихорадочной деятельности. Затем у Дороти порвалась нитка, и она едва не чертыхнулась, но одернула себя и поспешно вставила новую. Она боялась не успеть вовремя. До пьесы оставалось всего две недели, и Дороти приходила в отчаяние при мысли обо всем, что еще оставалось несделанным: шлемы, камзолы, мечи, ботфорты (ох уж эти проклятущие ботфорты – они преследовали ее в кошмарах), ножны, брыжи, парики, шпоры, декорации... Родители никогда не помогали с костюмами для школьных спектаклей; точнее, они всегда обещали помочь, но дальше этого дело не шло. У Дороти ужасно разболелась голова – отчасти из-за жары в теплице, отчасти оттого, что за шитьем камзола она напряженно обдумывала выкройки для ботфортов из оберточной бумаги. Она до того увлеклась, что даже забыла про счет. Все, о чем она могла думать, это устрашающая гора несделанных костюмов, возвышавшаяся перед ней. И так проходили все ее дни. Одна забота напирала на другую – будь то костюмы для школьного спектакля или грозящий провалиться пол колокольни, всевозможные долги или душившие горох сорняки, – и каждая забота была до того срочной и беспокойной, что требовала к себе безраздельного внимания.

Виктор бросил на пол деревянный меч и взглянул на свои карманные часы.

– Ну, порядок! – сказал он резко, даже грубовато, как всегда говорил с детьми. – Продолжим в пятницу. Давайте, выметайтесь! Тошнит уже от вас.

Проводив детей, он моментально забыл об их существовании, вынул из кармана нотный лист и стал беспокойно мерить шагами помещение, косясь на два чахлах растения в углу, тянувших за края горшков засохшие бурые побеги. Дороти по-прежнему склонялась над швейной машинкой, прошивая зеленый бархатный камзол. Виктор был неугомонным интеллигентным созданием и бывал счастлив, только когда выяснял с кем-нибудь отношения. Его бледное, изящное лицо, казалось, вечно выражало недовольство, но в действительности это было выра-

жение мальчишеской неусидчивости. Люди, впервые видевшие его, считали, что он растрчивает свои таланты на такой несерьезной работе, как директор приходской школы, но правда была в том, что профессиональные таланты Виктора ограничивались скромными способностями к музыке и значительно большими – в обращении с детьми. Не хватавший звезд с неба в других областях, с детьми он умел обращаться; он с ними не церемонился. Но, как и все люди, на этот свой особый талант он смотрел с пренебрежением. Почти все его интересы вращались вокруг церкви. Он был, что называется, *клерикалом*. Его всегда притягивала церковь, и он охотно избрал бы ее своим поприщем, если бы его умственных способностей хватило на овладение греческим и ивритом. Вот так, не сумев получить духовного сана, он вполне закономерно сделался учителем приходской школы и церковным органистом. Это давало ему возможность, образно выражаясь, вращаться в церковных кругах. Само собой, он был англокаатоликом самого непримиримого толка – большим клерикалом, чем сами клирики, знатоком истории церкви и экспертом по церковному облачению, в любой момент готовым разразиться гневной тирадой против модернистов, протестантов, сциентистов³⁵, большевиков и атеистов.

– Я подумала, – сказала Дороти, перестав шить и отрезав нитку, – мы могли бы сделать эти шлемы из старых шляп-котелков, если бы нашли достаточно. Срезать поля, приделать бумажные, нужной формы, и посеребрить.

– Господи, зачем забивать себе этим голову? – сказал Виктор, потерявший к пьесе интерес, едва закончилась репетиция.

– Больше всего голова у меня забита паршивыми ботфортами, – сказала Дороти, положив камзол на колени и рассматривая его.

– Ой, ну их, эти ботфорты! Давай забудем на миг о пьесе. Послушай, – сказал Виктор, разворачивая свой нотный лист, – я хочу, чтобы ты обратилась к отцу для меня. Я бы хотел, чтобы ты спросила его, нельзя ли нам устроить процессию как-нибудь в следующем месяце.

– Еще одну процессию? Зачем?

– Ну, не знаю. Всегда можно найти повод для процессии. Восьмого будет рождество В.В.М.³⁶ – я так думаю, вполне себе событие. Мы сделаем все в лучшем виде. Я раздобыл великолепный духоподъемный гимн, который дети смогут прореветь, и мы, пожалуй, могли бы позаимствовать у Ведекинда в Миллборо синюю хоругвь с Девой Марией. Если ректор замолвит слово, я тут же начну натаскивать хор.

– Ты же знаешь, он будет против, – сказала Дороти, вдевая нитку в иглоку, чтобы пришить пуговицы к камзолу. – Он ведь не одобряет процессий. Самое лучшее не сердить его понапрасну.

– Ой, какой вздор! – возразил Виктор. – У нас уже несколько месяцев не было процессий. Я нигде не видел таких безжизненных служб, как здесь. Иной раз посмотришь – можно подумать, у нас какая-то баптистская капелла или я не знаю что.

Виктора вечно выводила из себя суровая простота ректорских служб. Сам он приветствовал то, что называл «настоящим католическим богослужением», то есть бесконечные воскурения, позолоченные образа и пышные римские облачения. Будучи церковным органистом, он постоянно настаивал на процессиях, величественной музыке, изысканной литургии, так что они с ректором находились по разные стороны баррикад. И в этом отношении Дороти была на стороне отца. Воспитанная в духе сравнительно бесстрастного англиканства, она смущалась и побаивалась всякой «ритуальности».

– Полный вздор! – повторил Виктор. – Процессия – это же так здорово! Вдоль по проходу, из церкви через западную дверь, в церковь через южную; позади певчие со свечами, впереди бойскауты с хоругвью. Просто загляденье.

³⁵ Последователи т. н. христианской науки, разновидности либерального протестантизма.

³⁶ Лат. *Beata Virgo Maria* – Пресвятая Дева Мария.

И он пропел по нотам, слабым, но мелодичным тенором:

«Славься, день торжественный, день благословенный, свято чтимый во веки веков!»

– Будь *моя* воля, – добавил он, – у меня бы еще пара мальчиков раскачивали разом перwokлассные кадила.

– Да, но ты же знаешь, как отец не одобряет такого рода вещи. Особенно если это касается Девы Марии. Он говорит, это все «римская лихорадка», от которой люди начинают креститься и становиться на колени, когда надо и не надо, и бог знает что еще. Помнишь, что было в сочельник?

В прошлом году Виктор взял на себя смелость выбрать один из гимнов для сочельника, под номером 642, с припевом: «Радуйся, Мария, радуйся, Мария, радуйся, Мария, благодатная!» Ректор с трудом стерпел подобный папизм. Под конец первого куплета он демонстративно отложил свой служебник, развернулся у себя на кафедре и обвел паству таким суровым взглядом, что отдельные певчие оробели и умолкли. Потом он говорил, что просторечное блянье «Радыся, Мария! Радыся, Мария!» заставляло его чувствовать себя в дешевой пивнушке, вроде «Пса и бутылки».

– Какой вздор! – сказал Виктор злобно. – Твой отец вечно портит дело, когда я пытаюсь вдохнуть жизнь в службу. Ни ладан жечь не позволяет, ни достойную музыку, ни приличное облачение – ничего. А что в результате? Мы не можем заполнить прихожанами и четверть церкви, даже на Пасху. Оглядишься воскресным утром в церкви – не увидишь никого, кроме мальчиков и девочек-скаутов и нескольких старушек.

– Знаю. Просто кошмар, – согласилась Дороти, пришивая пуговицу. – Кажется, что ни делай, все без толку – мы просто не можем *заставить* людей идти в церковь. Хотя бы приходят венчаться и на похороны. Но я не думаю, что паства поредела за прошедший год. На Пасхальной службе было почти двести человек.

– Двести! А надо бы две тысячи. Таково население этого городка. Беда в том, что три четверти горожан за всю жизнь и близко не подходят к церкви. Церковь потеряла над ними всякую власть. Они и знать о ней не знают. А почему? Вот о чем я. Почему?

– Полагаю, все дело в науке и свободомыслии и иже с ними, – сказала Дороти несколько наставительно, повторяя за отцом.

Это замечание нарушило ход мысли Виктора. Он был готов сказать, что паства Св. Этельстана редет потому, что службы невыносимо скучны; но ненавистные слова «наука» и «свободомыслие» заставили его свернуть на другую и даже еще более проторенную дорожку.

– Конечно, дело в так называемом *свободомыслии!* – воскликнул он и снова принялся мерить шагами помещение. – Это все гады-атеисты, вроде Бертрана Рассела³⁷ и Джулиана Хаксли³⁸, и всей этой шайки. Но что губит церковь, так это наше молчание – вместо того чтобы дать им хороший ответ и показать, что они дураки и лжецы, мы сидим и молчим в тряпочку, пока они занимаются своей нечестивой атеистической пропагандой. Во всем, конечно, виноваты епископы (как всякий англокатолик, Виктор на дух не переносил епископов). Все они модернисты и карьеристы. Боже правый! – воскликнул он с воодушевлением. – Не читала мое письмо в «Чарч таймс»³⁹ на прошлой неделе?

– Нет, боюсь, не читала, – сказала Дороти, прилаживая очередную пуговицу. – О чем там?

– В общем, о епископах-модернистах и всяком таком. Я задал хорошую взбучку старику Барнсу⁴⁰.

³⁷ Бертран Артур Уильям Рассел (1872–1970) – английский философ, логик, математик и общественный деятель.

³⁸ Джулиан Сорелл Хаксли (1887–1975) – английский биолог, эволюционист и гуманист, политик; брат писателя Олдоса Хаксли.

³⁹ The Church Times (*англ.*) (букв. «Церковные времена») – независимая англиканская еженедельная газета, основанная в 1863 г.

⁴⁰ Эрнест Уильям Барнс (1874–1953) – английский математик, впоследствии теолог и епископ Бирмингема.

Едва ли проходила неделя, чтобы Виктор не написал письмо в «Чарч таймс». Он был в гуще любой полемики и на авансцене всякой схватки с модернистами и атеистами. Дважды он вступал в перепалку с доктором Мэйджором⁴¹, писал язвительные письма декану Инджу⁴² и епископу Бирмингема и даже не побоялся бросить вызов самому Расселу, но злодей Рассел не удостоил его ответом. Дороти, по правде говоря, очень редко читала «Чарч таймс», поскольку ректор выходил из себя, если видел дома эту газету. Сам он выписывал еженедельную «Хай-чарчмэнс-газет»⁴³ – изысканный, крайне консервативный анахронизм для скромного круга избранных.

– Ох же гад этот Рассел! – сказал Виктор с досадой, глубоко засунув руки в карманы. – У меня прямо кровь от него закипает!

– Это тот, который такой умный математик или кто-то вроде? – сказала Дороти, отрезая нитку.

– Ну, признаю, он, конечно, довольно умен в своей области, – согласился Виктор хмуро. – Но при чем здесь это? Если кто-то смыслит в цифрах, это не значит, что ему можно... в общем, ладно! Вернемся к тому, что я говорил. Почему мы не можем набрать достаточно прихожан в эту церковь? Да потому, что наши службы такие скучные и бездушные – вот почему. Люди хотят *богослужения* – подлинной католической обрядовости подлинной католической церкви, к которой мы принадлежим. А мы им этого не даем. Все, что мы им даем, – это старую протестантскую тарбарщину, а протестантизм давно почил в бозе, и все это знают.

– Неправда! – сказала Дороти довольно резко, ставя на место третью пуговицу. – Ты же знаешь, мы не протестанты. Отец всегда говорит, что англиканская церковь – это церковь католическая, – он столько проповедей прочитал об апостольской преемственности. Вот поэтому лорд Покторн и прочие не приходят к нам. Только отец не вступает в англокатолическое движение, потому что считает, что они помешаны на ритуальности ради самой ритуальности. И я с ним согласна.

– Ой, я не говорю, что твой отец не всецело прав по части доктрины – всецело. Но если он считает, что мы – католическая церковь, почему не проводит приличные католические службы? Просто досада берет, что нам хотя бы *иногда* нельзя воскурять фимиам. А его понятия об облачении – позволь, скажу начистоту – просто ужасны. На Пасху он надел готическую ризу с современным итальянским шнурованным подрезником. Что за вздор! Это как носить цилиндр с коричневыми башмаками.

– Ну, я не придаю такого значения облачению, – сказала Дороти. – Я считаю, значение имеет дух священника, а не его одежда.

– Ты говоришь как первоучители! – воскликнул Виктор в возмущении. – Конечно, облачения важны! Откуда возьмется чувство богослужения, если мы не создадим должного настроения? В общем, если хочешь увидеть, каким *бывает* подлинное католическое богослужение, загляни в Св. Ведекинда в Миллборо! Боже правый, вот кто знает в этом толк! Образа Богородицы, сдержанность причастия – что ни возьми. К ним три раза кенситисты⁴⁴ приходили, а епископа они ни во что не ставят.

– Ой, терпеть не могу, как все устроено в Св. Ведекинде! – сказала Дороти. – До того *возвысились*. Алтаря почти не видно из-за фимиама. Я считаю, таким нужно идти к римокатоликам и не выдумывать.

⁴¹ Ральф Герман Мэйджор (1884–1970) – американский доктор медицины, пользовавшийся большим авторитетом по обе стороны Атлантики, автор научно-популярных и исторических книг.

⁴² Уильям Ральф Индж (1860–1954) – английский богослов и публицист, англиканский священник и декан собора Св. Павла; трижды выдвигался на Нобелевскую премию по литературе.

⁴³ High Churchman's Gazette (*англ.*) (букв. «Газета высокой церкви»).

⁴⁴ Джон Кенсит (1853–1902) – английский религиозный деятель, боровшийся против англокатолических тенденций в англиканской церкви.

– Дорогая моя Дороти, тебе бы надо быть нонконформисткой. Я серьезно. Плимутским братом, или сестрой, или как их там называют. Твой любимый гимн наверняка номер 567: «О, Господь мой, страх берет, как же ты высок!»

– А твой – 231: «За ночь шатер свой передвину на поприще ближе к Риму!» – парировала Дороти, обматывая нить вокруг последней пуговицы.

Спор продолжался несколько минут, пока Дороти украшала «бобровую шапку галантного кавалера» (это была ее старая черная фетровая шляпа, в которой она ходила в школу) плюмажем и лентами. Всякий раз, как они с Виктором оставались вдвоем, между ними вспыхивал спор по вопросу «ритуальности». По мнению Дороти, Виктор, дай ему волю, мог вполне «переметнуться в Рим», и, судя по всему, была права. Но Виктор еще не осознал своей вероятной судьбы. На данный момент его мировоззренческий горизонт ограничивался лихорадкой англокатолического движения, с его непрерывной борьбой на трех фронтах: справа напирали протестанты, слева – модернисты, а сзади, увы и ах, римокатолики, так и норовившие пнуть тебя под зад. Виктор не представлял для себя большего свершения, чем устроить взбучку доктору Мэйджору в «Чарч таймс». Но, при всей его клерикальности, в нем не было ни грана подлинной набожности. По существу, религия, со всеми ее противоречиями, прельщала его как игра – самая захватывающая игра из всех, ведь она никогда не кончается и разрешается легким мухлеж.

– Слава богу, с этим – всё! – сказала Дороти, покрутив «бобровую шапку» на руке и положив на стол. – Ох, нелегкая, сколько же всего надо еще переделать! Хотела бы я выбросить из головы эти паршивые ботфорты. Сколько времени, Виктор?

– Почти без пяти час.

– Пресвятые угодники! Я должна бежать. Нужно сделать три омлета. Не смею доверить их Эллен. И да, Виктор! У тебя найдется что-нибудь для нашей распродажи? Если у тебя есть старые брюки, которые ты мог бы нам отдать, это было бы лучше всего, потому что брюки мы всегда продадим.

– Брюки? Нет. Но я скажу, что у меня есть. У меня есть «Путешествие пилигрима» и «Книга мучеников» Фокса, от которых я хочу избавиться уже не первый год. Протестантская макулатура! Старая тетка, раскольница, дала мне. Тебе не надоело все это... это шаромыжничество? То есть если бы мы только проводили приличные католические службы, собирающие приличную паству, ты же понимаешь, нам бы не понадобилось...

– Это будет прекрасно, – сказала Дороти. – Мы всегда ставим книжный киоск – берем по пенни за книгу, и почти все расходятся. Виктор, эта распродажа просто *должна* стать успешной! Я рассчитываю, что мисс Мэйфилл даст нам что-нибудь по-настоящему *хорошее*. На что я особенно надеюсь, это на ее старинный китайский чайный сервиз, такой красивый, и мы сможем выручить за него фунтов пять, не меньше. Я все утро специально молилась об этом.

– Да? – сказал Виктор несколько скептически.

Как и Проггетт несколько часов назад, он смутился при слове «молитва». Он готов был дни напролет говорить о смысле ритуалов, но упоминание личной молитвы казалось ему чем-то недостойным.

– Не забудь спросить отца о процессии, – сказал он, возвращаясь к более привычной теме.

– Хорошо, я его спрошу. Но ты же его знаешь. Он только вспылит и скажет, это всё римская лихорадка.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.